

ЯКОВ ШЕХТЕР

АСТРОНОМ



Яков Шехтер Астроном

*Текст предоставлен лигагентством «Неоглори»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183064
Шехтер Я. Астроном: Феникс; Ростов-на-Дону; 2007
ISBN 978-5-222-12127-6*

Аннотация

«Проза Шехтера абсолютно оригинальна. Но отнюдь не только в этом ее привлекательность. Всевышний наградил Якова огромным изобразительным талантом. Шехтеру дано описать все, что угодно. И вызвать именно то чувство, которое он хочет у вас вызвать».

Эдуард Бормашенко, журнал «22»

Взятие крестоносцами Иерусалима, бесы в старой синагоге Праги, эпифания – человеческое жертвоприношение в Латинской Америке, Тайная «драконова» почта, учрежденная в России Петром Первым, оргии римских патрициев, чудесное спасение великого князя Кирилла с тонущего броненосца «Петропавловск» – вот тугие спирали сюжета романа Якова Шехтера «Астроном».

Погрузившись в чтение, вы вдруг почувствуете, что мистика – не удел избранных, а живая часть нашей реальности. Вплетенная в повседневность, она располагается рядом с нами: нужно лишь протянуть руку или чуть изменить угол зрения.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава первая	5
Глава вторая	11
Глава третья	20
Глава четвертая	34
Глава пятая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Яков Шехтер АСТРОНОМ

Странно, что мы испытываем болезненную потребность (как правило, зря и всегда некстати) отыскивать прямую зависимость произведения искусства от «подлинного события». Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам, грешным, недостало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взывает, если нам скажут, что в основе «сочинения» лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед истиной, которое заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку: «А это правда было?»

Владимир Набоков «Лекции по русской литературе»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА

Глава первая ОБДИРКА

В девятом классе Миша решил стать астрономом. Его привлекал вид ночного неба, исколотого булавками звёзд. А луна, луна дурманила Мишину голову, сладко тянула спину, катила горячей волной по сухожилиям. Когда выскальзывала она, обнажённая, бесстыдно подставляясь пристальным взглядам биноклей, подзорных труб, телескопов и просто невооруженных глаз, Миша страдал от бессмысленной, но не менее горькой от бессмыслия ревности. Он хотел, чтобы луна всходила только для него, лишь ему даруя тихие улады спокойного любования, страстного осматривания, хозяйски спокойного огляда с атласом в руках.

О, эти минуты истомы с задранной верх головой, упоительные мгновения, когда, чудится, ещё чуть-чуть и воспаришь, взовьёшься кометой, и, расписавшись в холодном вечерующем небе, сольёшься с недоступным небесным телом в единый сияющий шар!

Сладкая штука – мечты. Словно сахарная вата, наполняют они душу до дна, до предела, до тягучих, розовых слюнок. Но сожми зубы, чуть придави эту хрусткую неужённую массу – и нет ничего, только ветер свистит в проводах, да насмешливо мерцают многоопытные, всякого повидавшие звёзды.

До увлечения астрономией Миша хотел стать археологом. Несколько лет подряд он посещал школьный исторический кружок и один раз даже выехал на раскопки.

В его родном Кургане копать было нечего. За четырехсотлетнюю историю города в нем не произошло никаких скольнибудь значительных происшествий. Самым большим культурным событием оказалась ссылка декабристов: Кюхельбекера и Розена. Архитектурных памятников в Кургане тоже не случилось: город, заложенный, как слобода, так и оставался скопищем деревянных домов. Единственное хоть как-то интересное сооружение – православный храм – разрушили в двадцатые годы.

Курган являл собой унылое зрелище стандартных пятиэтажек застройки семидесятых годов двадцатого века и нескольких аляповатых сооружений сталинского ампира, окруженных кварталами неистребимых деревянных домишек.

Копать выехали под Челябинск, на древнее городище. Кружковцы присоединились к группе московских археологов. Правда, всего на неделю, однако руководство школы предполагало, что даже столь непродолжительное знакомство заострит чувство истории в сердцах учеников и пробудит дополнительный интерес к изучаемым предметам. Но получилось наоборот.

Работали под открытым солнцем, мелко и нудно копаясь в плотно схваченной корнями земле. Кустарник на городище вырубил с самого начала, но корни, конечно же, остались, проросшие на глубину нескольких метров. Нужно было аккуратно, чтоб не повредить возможную находку, расчищать корешок и осторожно отпиливать обнажившуюся часть. Скудное и кропотливое занятие. За неделю, проведенную на раскопках, так ничего и не обнаружили. Просто ничего, абсолютно, ноль, только черную скользкую землю, кротовые ходы и розовых, извивающихся червей.

От археологов к школьникам был приставлен инструктор, он же смотритель. Опасаясь неумелого энтузиазма, инструктор целыми днями висел за спинами ребят, отпуская шуточки и забавляя старателей историями из жизни на прошлых раскопках. Знал он этих

историй великое множество, был словоохотлив и добр, и его присутствие хоть как-то скрасило нестерпимо тянущиеся часы работы.

Звали инструктора Марком, он закончил четвертый курс истфака и на раскопках проходил практику. По вечерам Марк приходил к палатке школьников, приносил с собой гитару и пел возле костра всякие дурацко-смешные песенки, вроде «его по морде били чайником».

Вот это было здорово! Миша не сводил глаз с инструктора и подпевал, что было сил.

Непонятно почему Марк выделял Мишу из своих подопечных. В один из вечеров, когда они вместе отошли от костра пописать, он остановился на полдороге, задрал голову кверху и тяжело выдохнул в черную глубину ночи.

– Не там роем. Не на той земле. Ну, какая тут старина, пятьсот, семьсот лет. Тысяча уже седая древность! Именно это Мандельштам и называл арбузной пустотой России.

– Почему арбузной?

– Арбуз, он вроде большой и тяжелый. Важный такой, красивый, вскроешь его, – внутри красная мякоть, черные косточки, белая корка. Но на самом-то деле все эта красота, не более, чем вода. Пустое место, понимаешь?

Миша не понимал. Окружающая его страна, под названием Россия, вовсе не казалась ему пустой. Он не знал, не видел ничего другого, и поэтому любил землю, на которой родился и вырос, ее продутые ветром колки посреди бесконечных полей, желтую листву, плывущую по черной воде осеннего Тобола, пьяный воздух нагретого полуденным солнцем соснового бора. Наверное, можно было поспорить с Марком, но тот вдруг замолчал. Тишину нарушали только далекое уханье сов и негромкое журчание. Миша, подражая Марку, тоже задрал голову, да так и замер. Впервые в жизни он увидел Луну. Не луну, а Луну!

– А где же надо рыть? – спросил он, спустя несколько минут. – В Крыму? На Волге?

Марк не ответил. К прерванному разговору он вернулся только в последний день, когда палатка школьников была разобрана, вещи уложены и грузовик ожидался с минуты на минуту.

– Прогуляемся напоследок? – предложил Марк, и Миша с замирающим сердцем пошел с ним вдоль городища.

Чего уж он там ждал от Марка, каких таких откровений или открытий, Миша и сам не понимал, но сердце почему-то колотилось, словно предчувствуя перемену.

– Две тысячи девятьсот лет тому назад жил в далекой стране царь, и звали его Саул, – вдруг заговорил Марк. – И как заведено у царей был у него соперник, претендент на престол. Звали его Давид. Саул гонялся за Давидом по всей стране, но настичь никак не получалось. Однажды загнал он Давида в пустынную местность, обложил со всех сторон и стал ждать. Но Давид и оттуда вывернулся, непонятно как прожив в пустыне несколько недель без воды и пищи.

Саул продолжил преследование. Возле единственной в тех краях деревни он поймал на выгоне пастушка и приказал ему составить список всех жителей. Вернувшись, он подверг каждого допросу, кто мог снабжать врага пищей и водой, но так ничего и не обнаружил.

Марк замолчал. Спустя несколько минут Миша осторожно спросил.

– Ну и что? Чем закончилась эта история?

– Чем, чем! – с внезапным раздражением воскликнул Марк. – Ты понимаешь, три тысячи лет назад можно было отловить пастушка на краю захолустной деревни и приказать составить список. Значит – он умел писать! Вот где надо рыть! А тут, – он брезгливо ткнул пальцем в раскопки, – находим берестяную грамотку, и шуму на весь мир!

Он снова замолчал.

– История закончилась просто, – сказал он через несколько минут, когда городище закончилось и, завершив круг, они снова вышли к лагерю. – Саул погиб в бою с филистим-

лянами, а Давид взошел на царство и первые годы правил в Хевроне. Вот где бы я покопал, – Марк зажмурился. – Ух, как бы я там порылся. Что угодно отдам за это!

Так в Мишину жизнь впервые вошло слово «Хеврон». Незаметно, с черного хода, вроде бы случайно упомянутое и почти лишнее, оно было произнесено, запомнилось, чтобы потом, в свое время, восстать в грозном великолепии надвигающейся неизбежности.

Фортуна – весьма взбалмошная и капризная особа: никогда не угадаешь, каким боком она к тебе повернется. Через неделю после отъезда школьников, на том самом месте, где Миша, сопя и отирая пот, рыл никому не нужные ямы, обнаружили необычную скульптуру. Двухметровый каменный дракон держал в лапах огромное солнце. Даже обломанные, его каменные лучи доходили до самой земли. Головы у дракона не оказалось, и поначалу решили, что ее отбили вместе с лучами. Более тщательное исследование показало, что ее никогда и не было, дракона с самого начала изготовили безголовым.

Таинственная скульптура вызвало немалое брожение в научных кругах, до широкого зрителя отголоски ученых дискуссий докатились в виде серии популяризаторских статей. Эссе под броскими названиями: «Каменное солнце», «Свет из-под земли», довольно долго циркулировали по страницам популярных изданий. Но Миша их уже не читал.

Вернувшись с раскопок, он переложил повыше учебники истории, а на их место начал потихоньку собирать книги о Луне, ночном небе, великих звездочетах и знаменитых открытиях. Книг такого рода оказалось довольно много; в областной библиотеке им был отведен целый стеллаж, куда, судя по формулярам, многие годы никто не заглядывал.

Быстро пробежав популярные и общеобразовательные брошюры, Миша погрузился в загадочный мир шлифовки линз и самостоятельного изготовления телескопов. Тут все излучало трепет и тайну, тени великих астрономов прошлого: Алхазена, Бэкона, Джованни Батиста, Галилея, Аверроэса, Торричелли, Кеплера, Декарта – дрожали над страницами биографий. В библиотеке каким-то чудом оказались книги этих ученых, и Миша, перескакивая с пятого на десятое, словно зачарованный, листал и перелистывал страницы.

Он оказался единственным читателем всего этого богатства. Вернее, почти единственным, на некоторых формулярах стояла фамилия Радзинский. Судя по всему, в Кургане, кроме Миши, проживал еще один любитель астрономии. Миша навел справки, и немедленно узнал, о ком идет речь.

Кива Сергеевич (Акива Самуилович) Радзинский был ходячим анахронизмом, ошибкой исторического процесса, гигантской флуктуацией. По всем законам ему давно полагалось стинуть, пропасть, лечь в вечную мерзлоту или развеяться дымом над туманными перелесками Польши, а он жил, проводив за черту небытия врагов и друзей.

«Ви, – шелестел Кива Сергеевич с невозможным для жителя Зауралья мягким акцентом, – ви понимаете? Нет, ви не понимаете, о чем я говорю!»

В Кургане Кива Сергеевич появился в сороковом году, когда главный конструктор танков, которые запускались в серию на новом заводе, попросил первого секретаря обкома пристроить своего родственника, молодого ученого, беженца из Польши. Поскольку весь город кормился из рук завода, а завод ходил по струнке перед главным конструктором, то просьба была выполнена незамедлительно. То есть, сначала беженца приняли, поставили на довольствие и выделили жилплощадь, а потом принялись думать, как же его применить.

После некоторого раздумья, узнав об экзотической профессии беженца, Киву Сергеевича назначили заведующим астрономическим кружком Дома Пионеров. Кружок срочно организовали, и даже приобрели кое-какой инвентарь.

Никаких документов, подтверждающих астрономическое образование, беженец не представил. По его словам, все удостоверения и дипломы пропали во время бегства из Польши. Запросили главного конструктора, и тот подтвердил, что его родственник действительно закончил перед самой войной Варшавский университет. Заведующий отделом обра-

зования срочно организовал проверку знаний товарища Радзинского. Экзаменаторы, два школьных учителя с рабфаковским образованием, выслушав часовую лекцию о небесной механике и тупо оглядев доску, которую «поляк» мелко покрыл формулами, единодушно пришли к одному и тому же выводу: астроном – настоящий.

Худо-бедно кружок заработал. Кива Сергеевич, тогда еще просто Кива, быстро смастерил телескоп и установил его в куполе бывшего монастыря, переделанного в краеведческий музей. Там он проводил все ночи, днем отсыпался, а к вечеру приходил в Дом пионеров на занятия кружка. Вид у него был странный: торчащие дыбом рыжеватые волосы, тонкая шея с нервным кадыком, глубоко запавшие глаза, и какая-то нагловатая усмешка, не сходящая с губ.

Он совершенно не вписывался в общий вид горожан и, конечно же, был первым кандидатом на устранение. Однако пока главный конструктор царил во вверенной ему отрасли, тронуть гражданина Радзинского было невозможно.

Но все проходит, закатилась и эта звезда. В сорок девятом, когда военная надобность стала не столь злободневной, Главного арестовали и замели, да так, что даже крошек не осталось. Куда он сгинул, в каком лагере нашел упокоение, знают только архивы. И гореть бы Киве Сергеевичу синим пламенем, если бы не его астрономическая удача.

Во время своих ночных бдений он ухитрился открыть новую звезду, незаметную пылинку в бесчисленном сонмище звездного мусора, и дать ей имя Курганка. Провинциальный городишко, подсчитывающий по пальцам именитых земляков, внезапно обзавелся настоящей знаменитостью. О Радзинском, скромном советском астрономе, открывшем на собственноручно изготовленном телескопе то, чего не смогли увидеть буржуи со всей своей современной техникой, написала «Правда». Статью немедленно перепечатали в местной газете «Советское Зауралье», а когда «Астрономический вестник» АН СССР, посвятил необычайному человеку несколько строк, его неприкосновенность стала абсолютной. Кива, теперь уже Кива Сергеевич, мог делать, что заблагорассудится: статус священной коровы пересмотру не подлежал.

Однако никакой пользы из своего выдающегося положения он так и не извлек; дела этого мира мало заботили товарища Радзинского. Возможно, окажись рядом с ним женщина, великий двигатель бытового прогресса, он получил бы более комфортабельное жилье, приоделся и стал бы лучше совпадать с социумом, но женщины Киву Сергеевича не интересовали. Да и когда ему было заниматься женщинами, ведь ночь, часы, предназначенные для любви, он посвящал иному усердию, а день, время работы и заработка, проводил в постели.

Педагог из него был никудышный, юных курганцев отталкивали заполошность и темперамент преподавателя.

– Ви! – распаляясь, начинал он, угрожающе тыча в воспитанника длинным пальцем с кустиком седых волос на фаланге, – ви знаете, что такое шлифовка линз? Нет, ви не знаете! Это не просто операция, это таинство, это искусство, это загадка. Да, загадка! Потому, что ни одна линза не похожа на другую. Все, что ви съели, с кем поругались, кого любили – все остается в линзе. Проще, дайте мне ее, и я опишу характер человека! Я скажу, он счастлив с женой или плачет по ночам. Дайте, дайте мне ее!

Но кружковцам нечего было предложить учителю, и дымчатые кольца риторики повисали в холодном воздухе Зауралья. Его энергия ночных переживаний, его опыт сладострастия с запрокинутой головой под черным куполом упраздненного монастыря, нервный, спотыкающийся бег крови сквозь уже начинающие сужаться сосуды, искали выхода. Так же, как река находит свое русло, протискиваясь между камней, Кива Сергеевич жаждал продолжиться, он искал будущего воспитанника, придирчиво и страстно высматривая его среди кружковцев, искал и не находил.

Они не могли не пересечься, астроном и ученик. Удивительно, что их встреча произошла так поздно, спустя год после зарождения Мишиной страсти.

– Да-да! – раздалось из-за двери с табличкой «Кружок астрономии». Миша толкнул высокую, выкрашенную жирной коричневой краской дверь, и вошел в комнату.

Боком к нему, у окна, сидел за столом мужчина. Вернее, не сидел а, чуть привстав, тянулся к огромному глобусу, стоящему перед ним. За его спиной распласталась по стене огромная карта звездного неба, украшенная декоративными картушами.

– Вы Кива Сергеевич? – робко спросил Миша.

Человек сел, обернулся к вошедшему, и спросил, недоуменно поднимая брови.

– А что, вы видите в этой комнате кого-нибудь еще?

– Я, – Миша замялся, – я хотел записаться в кружок, и мне сказали, что это у вас.

– А по цо тебе в кружок? – сурово поинтересовался мужчина.

– Я хочу стать астрономом, – с достоинством ответил Миша.

– Астрономом? – человек расхохотался. Можно было подумать, что Миша сказал что-то очень смешное или неожиданное. Нахохотавшись, человек спросил:

– А женщиной ты стать не хочешь?

– Как это, женщиной? – не понял Миша. Вопрос был задан с явной подковыркой, но какой, Миша не мог понять.

– Пан млоды, – назидательно произнес Кива Сергеевич, тыча в Мишу указательным пальцем. – Астрономом невозможно стать. Астроном это как пол, дается при рождении. Или ты астроном, или ты нет. Изменить сие невозможно.

– Я астроном, – уверенно ответил Миша и шагнул поближе к столу.

– Скуд веш, откуда ты знаешь? – спросил Кива Сергеевич, облокачиваясь на спинку стула.

– Вот, у вас на столе глобус Хондиуса. Слева Большая Медведица, в центре Геркулес, а справа созвездие Лиры.

– Ну! – Кива Сергеевич даже подскочил на стуле – Почти угадал. Только в середине не Геркулес, а Дракон.

– Геркулес, – не согласился Миша. – Вот четыре звезды Клины, – он указал пальцем в сторону глобуса, – невозможно спутать.

– Заявка подана, – Кива Сергеевич потряс головой, встал из-за стола и протянул Мише руку. – В кружок ты уже записан. Но кружок, это только начало, разминка. Чему бы ты хотел научиться?

– Я хотел бы научиться шлифовать линзы, – сказал Миша. – Только по настоящему, как Левенгук. Вы знаете, что такое теневой метод Фуко? В книжках написаны только общие объяснения. Я пробовал, но ничего не получается.

Кива Сергеевич побледнел и рухнул на стул.

– Млодзян, – прошептал он трясущимися губами. – Я жду тебя всю свою жизнь, мальчик!

Письмо первое

Дорогие мои!

Даже не знаю, с чего начать, как описать вам невероятное положение, в котором я очутился. С моей головой что-то произошло, наверное, я сильно ударился или долго болел. Память вернулась, но странным образом: какие-то подробности всплывают до мелочей, до запахов, цветов, звуков, а многое полностью пропало, и восстановить его не в моих силах. Ваши милые лица стоят перед глазами, я слышу голоса, интонации, я помню, как выглядят чайные блюдечки на обеденном столе, фасон маминого платья, запах отцовских папирос,

но полностью забыл ваши имена. Я забыл, в каком городе мы жили, чем занимались, забыл свое собственное имя, сколько мне лет, профессию, национальность. Пространство моей нынешней жизни ограничено комнаткой, теплой стеной, на которую опираюсь, окошком с холодным стеклом, глядящим в крошечную темноту, столом, табуреткой. Тут царит тишина. Лишь приложив ухо к стене за спиной, я улавливаю отдаленные крики. Кто кричит, почему – понятия не имею, и вряд ли смогу узнать.

Дни мои тянутся незаметно, большую часть времени я дремлю, погружаясь в чудные, удивительные сны. Они настолько явственны, что иногда кажется, будто они и есть моя настоящая жизнь. И не одна, много, много прожитых жизней. Просыпаясь, я думаю о них, пытаюсь понять, что со мной происходит.

Есть мне не хочется, и жажда не беспокоит, я стал словно бестелесным, в смысле привычных потребностей и отпращиваний. Дремота наваливается внезапно, нет сил противиться ее власти, она накрывает с головой, подминает под себя, будто тяжелая морская волна. В перерывах между приступами сна я тщательно осматривал и пересмотрел все члены моего тела: они целы и исправно работают. Я ощущаю боль, слышу звуки, обоняю, вижу, но чувство ирреальности происходящего не отпускает.

Поговорить тут не с кем, я полностью предоставлен самому себе и своим дремам. Как бы мне хотелось поговорить с мамой, выслушать совет отца, просто посидеть вместе, глядя друг на друга. Единственно доступный способ общения, пусть односторонний – это письма.

На моем столе лежат припасенная кем-то пачка бумаги, карандаши, точилка, есть даже ластик и несколько десятков плотных конвертов. В противоположной стене прорезана узкая щель и над ней нарисован такой же конверт, как те, что лежат на столе. Над ним изображена голова дракона. Зачем, почему – неизвестно. Куда ведет щель, как работает почта и почта ли это вообще – не знаю. Но я буду писать вам, родные мои, я расскажу вам все свои сны, и буду верить, что получу от вас весточку. Мне так нужна ваша помощь!

На конверте я напишу «Дорогим родителям». Это все, дальше память отказывается. Но тот, кто поместил меня в эту комнату, кто приготовил бумагу, карандаши и конверты, наверняка знает, кому адресованы мои послания, и сумеет их передать. На этом прощаюсь, подступающая дремота вяжет мои члены, закрывает глаза. Только бы успеть опустить конверт в щель. До свидания, до следующего письма.

Любящий вас сын.

Глава вторая ОБРАБОТКА ЗАГОТОВКИ

Спустя месяц, когда восторги улеглись и вид звездного неба через окуляр телескопа перестал вызывать у Миши волну сладкого трепета, Кива Сергеевич затеял с учеником первый серьезный разговор.

– Каждый астроном обязан сделать свой телескоп. Ты разумеешь?

– Разумею.

– Звезды должны войти в тебя не только через глаза, а через пальцы, через пот, через ноги. Через ноги, ты знаешь, как астрономия входит через ноги?

– Не знаю, – почтительно ответил Миша. Он уже понял, что на многие вопросы учителя нужно отвечать смиренным незнанием. Тогда он объяснит и перейдет к следующей теме. Если же зацепиться, то Кива Сергеевич может выдать получасовую нотацию о том, кто такой астроном и чем он отличается от прочих особей человеческого рода. Миша был усердным и понятливым учеником.

– Тебе, – Кива Сергеевич многозначительно хмыкнул, – а вернее нам, предстоит построить зеркальный телескоп, или телескоп-рефлектор системы Ньютона. В первую голову требуется изготовить вогнутое зеркало, которое играет роль объектива. Для этого нужно толстое стекло, заготовка. Можно витринное, но лучше всего от иллюминатора. Ты вещь, где достать стекло от иллюминатора?

Миша недоумевающе пожал плечами. Через Курган протекала небольшая речка Тобол. Дальше, спустя несколько сот километров она разливалась, превращаясь в солидную реку, но здесь ее с трудом хватало для купальных забав короткого зауральского лета. В пляжный сезон по Тоболу, не спеша, плавали лодочки, иногда показывался милицейский катер. Другими плавсредствами сухопутный Курган не располагал, и где достать иллюминатор, Миша не имел никакого понятия.

– Астроном, – поучающе поднял указательный палец Кива Сергеевич, – все вокруг себя видит сквозь призму призвания. Гды спиш ораз гды ядаш, – тьфу, – резким движением головы Кива Сергеевич остановил прорвавшийся польский, – когда ты спишь, и когда ты ешь, когда целуешь девушку и даже когда забегаешь в кустики по малой нужде – ты всегда должен оставаться астрономом. А что это значит? Это значит: глаз осматривает, ухо прислушивается, голова запоминает. Любая мелочь, которая может пригодиться, наматывается на ус. Накрепко наматывается. Зрозумел?

– Понял, – ответил Миша.

– А теперь, – продолжил Кива Сергеевич, – шуруй к мосту через Тобол, там возле лодочной станции лежит на песке старый катер. Уже три года лежит, весь проржавел. На него явно махнули рукой. Так я думаю. В катере есть по три иллюминатора с каждого борта. Выбери, какой на тебя смотрит, и развинти.

Миша кивнул головой, повернулся и пошел к двери.

– Эй, – окликнул его Кива Сергеевич. – Болты там хоть и были покрашены, но давно проржавели. Возьми гаечный ключ покрепче и трубку металлическую. Ключ вставишь в трубку, чтоб плечо увеличить, иначе не отвернуть. И терпением, терпением запасись. Терпение – главная добродетель астронома!

Есть неуловимое очарование в старых мостах. Замшелые деревянные сваи, скрипящие доски настила, зеленая вода, так близко бегущая за почерневшими перилами, ее холодный, свежий запах, перемешанный с пряной гнилью травы, осевший на ледоломах.

Их строили еще вручную, вбивая кувалдами каждую сваю, выбирая на звук доски, прислушиваясь, по-крестьянски основательно, нет ли трещины, строили на годы, на десяти-

летия. В центральной России они не сохранились, сгорели, одни в лихолетье гражданской, другие под гусеницами Отечественной, но за Уралом, куда не долетали немецкие самолеты, мосты стоят до сих пор, намного пережив и строителей, и эпоху.

Катер лежал, глубоко зарывшись в песок. Его борта проржавели до дыр, все полезное давно было свинчено и унесено. На иллюминаторы никто не позарился, какой от них толк в домашнем хозяйстве? Миша потрогал гайки; наросты краски превратили их в бесформенные нашлапки.

«Терпения тут, действительно, понадобится много, – подумал он. – Может, на другом борту положение не такое трудное».

Он пошел вдоль катера, стараясь ступать точно по краю его тени, просто так, ради игры. Тень кончилась, и с другой стороны он уткнулся в двух парней, привольно расположившихся под бортом. Парни грелись на солнце и выпивали: несколько уже опорожненных бутылок валялись неподалеку. Употребляли они дешевое вино, «Солнцедар», в Кургане его называли «гамыра».

Один из них лежал, привалившись к борту катера прямо под иллюминатором, а второй стоял в позе горниста, высоко задрал локоть. Вместо горна в руке он держал бутылку и, обхватив горлышко вытянутыми губами, крупными плотками переливал в себя ее содержимое. Увидев Мишу, он с чмоком вытащил бутылку изо рта, отер губы и осклабился.

– А вот и козлик пожаловал. Ходи посюдова, козлик.

Драк Миша не боялся, в школе ему приходилось стыкаться то с одним, то с другим задирой, но тут перевес сил был слишком велик. Он молча подошел, сжимая в одной ладони гаечный ключ, а в другой трубку.

– Гляди-тка, – зареготал парень, – вооружен и очень опасен!

Солнце играло на его крупных блестящих зубах, переливалось в глазах, брызгало искрами с кончиков волос.

– Кинь на землю, – приказал он, не переставая скалить зубы. – Скидавай, кому говорят.

Трубка и ключ полетели в песок.

– Дай пару копеек, видишь, гамыра кончается.

– У меня нет.

– Нет, говоришь. А ну, попрыгай!

Кривясь от оскорбления, Миша несколько раз подпрыгнул. Ничего не зазвенело. Бумажный рубль, запряганный во внутреннем кармане пиджака, лежал тихо.

– Да не так, – посерьезнел парень. – Козликом попрыгай.

– Как это козликом?

– С ног на руки, вверх-вниз.

– Эй, – подал голос второй, лежащий на песке парень. – Кончай мальчика травить. Чо он тебе сделал?

– Да пока ничо, – отозвался первый, – но может. Давить его надо, пока не вырос.

– Так сразу и давить, – не согласился лежащий. – Ты лучше в круг мальчика пригласи, выпить, закусить. Может, нашим станет.

– Это мысль, – согласился парень и протянул Мише бутылку «Солнцедара». – На, ломани плоток.

Миша взглянул на обслюнявленное горлышко.

– Спасибо, я не пью.

– Брезгуешь, значит. Дарами солнца брезгуешь. Ну, ничего, ты еще пожалеешь. На коленях умолять станешь, а не дадим.

Он вдруг с необычайным удивлением посмотрел Мише за спину.

– Ничего себе! Смотри, что творится.

Миша невольно обернулся, и парень закатил ему здоровенный пинок под зад. От неожиданности Миша упал, зарывшись лицом в песок.

– Ну, как, побыл козликом, покушал травку?

Миша молча поднялся на ноги, выплюнул песок и пошел на парня. Ему стало все равно, что с ним будет дальше, стерпеть такого оскорбления он не мог.

Парень, ухмыляясь, ждал его, помахивая бутылкой. Брызги вина вылетали из горлышка, вспыхивая на солнце, словно искры электросварки. Лежащий подскочил, одним прыжком преодолев расстояние до Миши и крепко схватил его, прижав руки к туловищу.

– Пусти, пусти! – закричал парень. – Пусти козлика!

– Правов таких не дадено, – с сожалением сказал второй парень. – Пока не дадено.

Он отшвырнул Мишу в сторону. Сила в его руках была нечеловеческая, точно экскаватор подхватил и кинул, не разбирая, кто попался в ковш.

– Вали отседа, парень. Еще раз увижу тебя на этом месте, заплакать не успеешь.

Миша молча поднял ключ и трубку, повернулся и пошел домой. Обидно было до смерти, в носу щекотало, а непрошенные слезы катились по щекам. В уличных схватках ему уже случалось быть битым, несколько раз противник оказывался сильнее или ловче, но поражение никогда не носило тотальный характер, всегда оставляя лазейку для будущей победы. Здесь же его словно размазали по стене, такого бессилия и беспомощности он никогда не ощущал.

Кива Сергеевич выслушал Мишин рассказ с необычным вниманием. Помолчал. Походил по комнате.

– Быстро они до тебя добрались, – наконец сказал он.

– Кто это они? – спросил Миша.

Кива Сергеевич внимательно посмотрел на него.

– Хулиганы. Негодяи. Збойцы. Разбойники и злодеи.

Миша принял ответ как должное; воспаленный случившимся, он не обратил внимания на проговорку Кивы Сергеевича. Потом, спустя несколько месяцев, просеивая прошлое сквозь сито понимания, он разгадал, о чем проговорился или на что хотел намекнуть ему Учитель.

– Пойди туда ночью, – предложил Кива Сергеевич. – Полнолуние через два дня, вот через два дня и сходи.

– Так ночью же опаснее, – удивился Миша. – Я лучше завтра днем схожу. Они же там не все время сидят.

– Ночь, – время астрономов, – не согласился Кива Сергеевич. – Разные времена благоприятствуют разным людям. Мы – люди темноты. Астроному лучше всего начинать новое дело при полной луне.

– Почему? – снова не понял Миша.

Кива Сергеевич опять внимательно посмотрел на него.

– А как ты гайки в темноте крутить будешь? Кшенжич поможет.

– Кто? – не понял Миша.

– Кшенжич – луна, месяц.

– Я фонарик возьму!

– Ночью свет фонарика издали виден. И вообще, – внезапно разъярился Кива Сергеевич, – не умничай, делай, что велят.

В ночь полнолуния Миша провозился чуть не до рассвета. Он сбил краску, отчистил проволочной щеткой грязь и ржавчину, приладил ключ и давил, жал, что было сил, повисая на трубке всем телом. Бесполезно, гайки стояли, словно припаянные. Грязный, с ободранными пальцами, Миша вернулся домой под самое утро.

– Вот так встреча, – отец собирался на работу. – У телескопа сидел или заснул возле Кивы Сергеевича?

Увидев, как основательно Миша штудировал учебник физики, он стал благосклоннее относиться к увлечению сына.

– Нет, гайки откручивал.

– Какие гайки, небесные?

– Если бы! Обыкновенные ржавые гайки.

В полном отчаянии Миша пересказал отцу историю прошедшей ночи.

– Что ж ты сразу не спросил? Сначала нужно хорошенько смочить их керосином, а как высохнут, залить машинным маслом. Тогда, кудрявая, сама пойдет.

Масло и керосин отец принес с работы, и в следующую ночь Миша достаточно легко открутил гайки, снял с петель иллюминатор и с передышками притащил его домой.

Вечером, вместе с Кивой Сергеевичем, они разобрали рамку и с максимальными предосторожностями извлекли толстенное стекло.

– Добже! – ликовал Кива Сергеевич! Прекрасное стекло! Мне нравится его толщина! А тебе?

– Мне тоже нравится, – отвечал Миша. Сбитые пальцы саднили, но радость Кивы Сергеевича была такой искренней, что не присоединиться к ней было невозможно.

– Пошли, – Кива Сергеевич поднялся с места. – Я покажу тебе мастерскую алхимика. Только стекло не урони.

Они спустились в подвал. Толстая железная дверь, которую, казалось, никогда не открывали, раскрылась без малейшего усилия. Пошарив рукой по стенке, Кива Сергеевич зажег свет.

Подвал представлял собой большую комнату с четырьмя дверьми. Видимо, они вели в подсобные помещения. Кива Сергеевич уверенно подошел к одной из них, легко повернул ключ и распахнул ее настежь.

– Просимы сердечне!

Комната действительно походила на мастерскую алхимика. На огромном столе в четком порядке были разложены приборы, о назначении которых Миша мог только гадать. Кроме них на стенах и полочках располагались кюветы, циркули, напильники, полный набор слесарных инструментов, болты и гайки в картонных коробочках, куски дерева, гвоздики, трубки разных диаметров, тигель, колбы, реторты, микроскоп, – чего только не было в этой комнате!

– Начнем! – Кива Сергеевич оживленно потер руки. – Вот прямо сейчас и начнем.

Он взял из Мишиных рук стекло и осторожно положил его на ровную доску. Не глядя, протянул руку и, взяв со стола три деревянные планки, положил их на стекло. Затем сделал отметки карандашом, пробуровил планки и завинтил шурупы. Теперь на стекле лежал деревянный треугольник. Миша недоумевающе следил за действиями учителя.

– Последняя проверка, – Кива Сергеевич посмотрел на Мишу. – Сейчас мы установим, принимает тебя Луна или нет.

– Что нужно делать? – спросил Миша. Он уже понял, в чем заключается его роль. Ему полагалось молчать и работать. И позволить Учителю объяснить результаты действий.

– Иди на улицу. Смотри по сторонам. Первое, что привлечет твое внимание – принеси сюда.

– А если автобус? – не выдержал Миша.

– Автобус не бери. Что не сможешь взять – запомни. Вернешься – расскажешь. Будь внимателен – это твой последний вступительный экзамен.

– Экзамены, экзамены, – почти с раздражением шептал Миша, поднимаясь по лестнице. – Сколько можно проверять! Он что, в космонавты меня записывает! Всего-то делов – астрономический кружок.

Он говорил, но какая-то частица его сознания твердо знала, что речь идет не о кружке, а о куда большем, важном и, наверное, главном в его жизни деле. И он пройдет любые испытания и экзамены, лишь бы остаться, прилепиться к Киве Сергеевичу и пойти за ним. Куда пойти, он пока не понимал, но знал, что это правильная, а главное, единственно возможная для него, Миши, дорога.

Фигуры горнистов на фасаде Дома Пионеров пылали, не хуже костра в огне заходящего солнца. На улице все было обычно: прохожие, автобусы, колонны кинотеатра «Россия» наискосок, книжный магазин напротив, черная глыба памятника Ленину посреди площади, серые ступеньки главпочтамта.

Миша обогнул Дом Пионеров. Сразу за ним начинался парк, разбитый на месте старого кладбища. На нем были похоронены декабристы, но это его не спасло – кладбище разровняли, превратив в место отдыха трудящихся. В монастыре, где когда-то отпевали умерших, разместили краеведческий музей, там Кива Сергеевич и устроил свою обсерваторию.

Миша свернул на дорожку парка. Под ногами забренчало. Трудящиеся, выпивая и закусывая в кустах, захмелев, разбрасывали пустые консервные банки во все стороны света.

– Тьфу, – Миша наподдал носком, и банка со скрежетом врезалась в кусты. Он прошел еще несколько шагов и остановился.

«Первое, что привлечет твое внимание – принеси сюда».

Банка. Что за ерунда! Но ведь Кива Сергеевич четко сказал – первое. Придется нести.

Он вытащил банку из кустов, брезгливо вытряхнул остатки сайры и возвратился в подвал.

– Вот, – сказал он, протягивая жестянку Киве Сергеевичу.

– Отлично! Лучшего и придумать невозможно. Да, ты настоящий астроном. А теперь – за работу.

По правде говоря, Мишу слегка разбирал смех. Какое отношение имела пустая консервная банка к почитателям Луны и почему именно она доказала, что он настоящий астроном – было непонятно и странно. Да и вся высокопарность церемонии отталкивала. Миша всегда убегал от всякого рода общественных нагрузок. Красные галстуки, звездочки с кудрявым Ильичем, совместное пение «Интернационала» вызывали мурашки стыда. Все эти атрибуты причастности казались неловкими анахронизмами, принадлежали к другой эпохе и, кроме исторического любопытства, не вызывали никаких эмоций. Серьезное к ним отношение представлялось постыдным. А тут он оказался вовлеченным в чудаковатый ритуал, избежать которого уже не представлялось возможным, а прекратить – немыслимым.

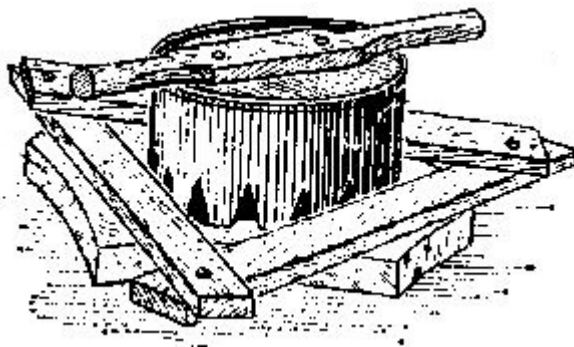
Кива Сергеевич снял с гвоздика в стене большие ножницы для резки кровельного железа и ловко вырезал треугольные выступы по краю банки. Затем просверлил в донышке отверстия и пришурупил банку к палке с закругленными краями.

– Шурупы, только шурупы, – приговаривал он, вращая отвертку. – Можно и гвоздями, но шурупы честнее. Гвоздь, скользкий и гладкий, из любой ситуации вывернется. А шуруп, если уж зацепился, то будет держать, пока его вместе с зубами не вырвешь. У шурупов учись, не у гвоздей.

Он вставил банку зубцами вниз прямо в треугольник, лежащий на стекле. Банка вписалась в него с небольшим зазором.

«Э, – подумал Миша, – он, наверное, заранее знал размеры. Иначе бы так точно не подошло. Значит, и про банку знал? Откуда? Интересно получается....»

Кива Сергеевич взял со стола круглую коробку из-под растворимого кофе, открыл и высыпал на стекло бурый порошок.



– Поплюй, для начала, – приказал он Мише. – Чтоб лучше шло.

Миша послушно поплевал. Кива Сергеевич налил на стекло воды из темно-зеленой бутылки.

– А теперь сверли.

Миша взялся за ручку и стал крутить банку по стеклу. Раздался громкий хруст. Миша испуганно отпустил палку.

– Крути, крути, не бойся. И нажимай добже. Когда наждачный порошок перестанет хрустеть – еще подсыплем. Если постараться, часа через два заготовка будет вырезана.

Миша крутил и крутил, нажимая изо всех сил. Постепенно хруст стих, тогда Кива Сергеевич подлил воды, смывая остатки порошка в канавку, уже образовавшуюся на стекле. Хруст возобновился.

– Как ты розумешь, – спросил он Мишу, усаживаясь перед ним на табуретке, – какая дорога правильная, та, что легче или та, что труднее?

Подвох был ясен, но Миша хотел получить объяснение и поэтому подыграл.

– Та, что легче, – ответил он, налегая на палку.

– Не всегда, – сказал Кива Сергеевич. – Мир ведет с человеком диалог. И один из признаков правильности пути состоит в том, что обстоятельства препятствуют. Правильная дорога – это улучшение мира, и силы, которые в этом не заинтересованы, начинают мешать. Розумешь?

– Нет, – честно признался Миша.

– Ну, и ладно, – согласился Кива Сергеевич. – Нех так бендзе. Все сразу понять трудно. Пока просто слушай. И запоминай. А потом мозаика сама в голове сложится. Но кое-что ты должен делать уже сейчас. Заруби себе на носу, выжги в сердце, держи перед глазами – вторая, после терпения, добродетель астронома, – абсолютные чистота и аккуратность. Во всем. А особенно на рабочем столе.

Письмо второе

Дорогие мои!

Мне снилось, будто я превратился в камень. И это был уже не я, потому, что у камней нет ни души, ни сознания, а что-то иное, объяснить которое невозможно на языке наших понятий. Какие-то остатки моего человеческого разума задержались в каменной толще, поэтому я мог назвать этот валун собой.

Я, по всей видимости, был необычным камнем, отличным от других глыб в нашей гряде. Мы лежали все вместе, прикрытые землей и ждали своего часа. Лежали очень долго, века, а может быть тысячелетия, ведь для камней время течет по-другому. Мысли, если их

можно так называть, ворочались во мне очень медленно. Наверное, по человеческим часам на каждую из них уходили годы или десятилетия.

Мы не говорили друг с другом, но любой валун мог обратиться к общему Управителю. Он втолковывал каждому его суть и смысл существования. Мы знали, что наш час близится, и готовились к нему. Мне трудно объяснить, как, ведь проснувшись, я многое позабыл из «каменной жизни». Кажется, я умел управлять какими-то внутренними цепочками, делаясь тверже или мягче, и подготовка состояла в том, чтобы отвердить себя до максимальной величины.

Я очень старался, напрягаясь изо всех сил. Мои соседи по гряде, огромные замишлые валуны спокойно дремали, то наслаждаясь лучами солнца, нагревавшего торчащую над землей верхушку, то нежась под прохладными струйками дождя. Слова «нежась» и «наслаждаясь» плохо подходят к каменным глыбам, но я не могу передать вам те ощущения, и вынужден пользоваться понятиями из языка людей.

И вот – час пробил. Пришли люди, отгребли покрывавшую нас землю и принялись за работу. Из каждого валуна они вытесывали блок для определенной цели. Им только казалось, будто они сами решают, какой камень на что пойдет, на самом деле всем руководил Управитель. Готовые блоки складывали на повозки и отвозили на вершину горы. Там шло большое строительство, и всех нас употребили для возведения стен, башен, домов.

Мне досталась главная роль, хоть блок из меня получился небольшой и странной формы. Мои усилия и работа над собой не пропали даром – из всей гряды выделил Управитель меня одного и предназначил для особо важной функции. Перед тем, как направить сердце главного каменотеса к тому месту, где я пролежал многие века, Управитель взял с меня клятву: быть крепким и жестким, постоянно работать над усилением твердости и всегда помнить о выпавшей на мою долю чести.

– Есть души, предназначенные для высокой цели, – сказал он, – и спрос с них особый.

Дугу внешних ворот поднимали при мне; я видел каждую деталь и все подробности строительства, терпеливо дожидаясь своей очереди. Из толстых бревен и балок соорудили точное подобие будущей арки и на нее осторожно затащили огромные блоки. Между собой блоки ничем не скреплялись: каждый последующий опирался на предыдущий, прижимаясь к нему огромной массой.

Когда обе дуги арки дошли до самого верха, пробил мой час. Я улегся в небольшое пространство между верхними блоками, и вот тут-то и пригодилась моя странная форма и выработанная твердость. Дуги сжимали меня с двух сторон мертвым замком, я оказался вершиной и ключом ко всей арке. Когда бревна и балки убрали, все сооружение стало держаться только на мне. От меня, от моей крепости, теперь зависела судьба огромных блоков, кичившихся своими размерами, и презрительно поглядывавшими на меня во время строительства. Ну, да ничего, теперь все они оказались подо мной, а я, небольшой камень странной формы, возвышался над ними, на самом, самом верху. Теперь я понял, о какой цели говорил Управитель.

Прошли года, или десятилетия, а может быть – века. Подо мной суматошно протекала человеческая жизнь. Разные люди проходили через ворота, воины били таранами в их деревянные створки, цари, окруженные пышной свитой, въезжали под шум возбужденной толпы. Иногда надо мной пролетали стрелы, иногда через меня лили кипяток и расплавленную смолу, а иногда сыпали цветы. Я взирал на шелушение людской жизни отстраненно и равнодушно: войны и примирения, ненависти и любви были так быстротечны и суетны на фоне бесконечного, степенного существования камней.

С горы, на которой стоял город, были видны холмы, покрытые синим лесом, зеленые ложбины между холмами, голубое море у горизонта. С моря иногда прилетал холодный и влажный ветер. От его дыхания на моей поверхности оставались белые налеты соли. Если

их не смывали дожди, соль начинала вгрызаться в поверхность, разъедаая меня по крупинцам, выгрызая мельчайшие песчинки. Я выстраивал защиту, окружая поврежденные места укрепленными цепочками, я понимал важность своего положения и всегда помнил о клятве.

Мои крупинки разлетались в разные стороны, ложились под колеса повозок, забивались в одежду женицин, оседали на конские гривы. Я чувствовал их, я знал, где они, и что с ними происходит, даже отдаленные, они оставались частью меня. Их было мало, очень мало, таких песчинок, ведь я постоянно работал над укреплением твердости и заботился о целостности своей структуры.

Холмы, леса, море постоянно стояли передо мной, то мерцающие под солнечным жаром, то прикрытые зыбкой пелериной дождя. И чем дальше я смотрел на них, тем больше мне хотелось рассыпаться на множество песчинок и, прицепившись к лошадиным копытам, или к человеческим сапогам, оказаться там, за зыбким маревом плывущего воздуха.

Нет, полностью рассыпаться я не мог, да и не хотел, ведь тогда арка, порученная мне арка, упала бы, развалилась на части. Речь шла о нескольких сотнях песчинок, не больше, а ведь мое тело состояло из многих и многих миллионов таких частиц.

Поначалу сама мысль о нарушении клятвы казалось чудовищной, но постепенно я привык к ней, и она перестала вызывать трепет и стыд. Ведь я не собирался никого предавать, наоборот, я еще ожесточеннее работал над своими цепочками, но вместе с тем, почему прелести этого манящего, сверкающего мира должны были остаться навсегда недоступными?

Мои крошечные посланники начали потихоньку распространяться по всей округе. О, как это было изумительно и прекрасно, узнавать, что находится за горным перевалом, каков цвет морской волны на рассвете, чем пахнут лесные прогалины в жаркий полдень. Любопытство росло, особенно когда мои песчинки поднялись на корабли и поплыли в разные стороны огромного, удивительного мира. Он обрушился на меня всей мощью своих звуков, запахов, красок. То, что происходило под аркой, теперь стало казаться ничтожным и незначительным. Высокие когда-то горы теперь представлялись скромными холмами, а пестрая толпа, струящаяся сквозь ворота – сборищем неотесанных простолудинов. Нет, я не забывал о долге, постоянно работая над твердостью, но тем частичкам, что лежали у самой поверхности и хотели пуститься в дальнейшее путешествие – разве я мог им воспрепятствовать?

Прошли годы, или десятилетия, а может быть, века. Куда подевался скромный камень, тяжело выполняющий свою работу?! Я превратился в гражданина мира, в ученого, познавшего просторы, в аристократа духа, укутанного в мантию тайны. На грубые валуны, подпиравшие меня, я смотрел без презрения, и даже без снисходительной грусти; они просто были мне неинтересны.

И вот, в один из дней произошло нечто ужасное. Я вдруг почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь, боль, судорога, смятение. Раздался страшный треск – и, словно черная змея, сквозь меня проползла трещина. Со стороны она была не видна, даже самый опытный строитель не смог бы догадаться об ее существовании, но, я-то, я-то знал! Слишком много частиц покинули мою поверхность, слишком много посланников ушли в далекие края на поиски впечатлений.

С ожесточенностью обреченного я принялся за работу, пытаясь зарастить цепочками нанесенный ущерб, но тщетно. Трещина раздробила мое тело на две половины, и они тут же начали незаметное, но неумолимое движение, расплываясь в разные стороны. Молить о пощаде, звать на помощь? Кого? Конец был неминуем, не скоро, не сразу, но обе мои половинки, сдвигаемые чудовищным давлением валунов, должны были выскользнуть из

замка и арка, вверенная мне арка, с грохотом рассыпаться, убивая и калеча всех, кто окажется под ней.

Нет, лучше бы это произошло сразу, немедленно, чем растянутое на десятилетия неторопливо растущее отчаяние, срывы, сломы, сколы, скрип рвущихся цепочек, страх, стыд, боль.

Наконец, это случилось. Именно так, как я себе представлял. Арка рухнула, а я, подлый и бесчестный я, проснулся на своей табуретке, в маленькой комнатке, перед письменным столом.

Прощаюсь, нет сил писать дальше.

*До следующего письма,
любящий вас – сын.*

Глава третья РАБОЧИЙ СТОЛ

В январе 1942 года, на маленькой железнодорожной станции остановились друг напротив друга два поезда. Шли они в одну и ту же сторону, под Харьков, где готовилось крупное наступление. В обоих эшелонах размещались воинские части, сформированные для прорыва фронта. Предстоящие бои кружили головы, возбуждение переполняло морозный воздух. Части были укомплектованы в двойном размере, каждый батальон равнялся по численности полку и экипирован по высшему разряду. Все было новым: автоматы ППШ, четыре пулемета на каждый взвод, противотанковые винтовки, даже наводящие ужас «Катюши» двигались следом отдельным составом.

Макс Михайлович Додсон, новоиспеченный младший лейтенант, с удовольствием прыгнул на снег. Ладно сидевшая гимнастерка чуть натянулась, крепко перехваченная ремнем вокруг талии, мышцы ног, уставшие от недельного лежания на нарах теплушки, приятно заныли. Хорошо было Максу Михайловичу, ему нравились роль командира взвода, послушание, с которым подчинялись его приказам солдаты, ловкость крепкого, натренированного тела, умение пальцев, быстро разбиравших и собиравших пулемет, или ППШ. Он уже слышал шепот за спиной: «А наш-то хорош, справный парень, и человек сердечный. С таким воевать легко и помирать не страшно».

Главные проблемы отодвинулись назад, подступающая опасность притупила тревогу. Его семья ушла из Гомеля пешком, убегая от немцев, и кроме этих скудных сведений, он больше ничего не знал о судьбе близких. Успели они добраться до еще не захваченной железной дороги и мыкаются сейчас в эвакуации, или не успели, и тогда...

Он гнал от себя эти мысли, но они возвращались и возвращались. Воображение услужливо рисовало страшные картины, и Макс старался подавить их усердной учебой в училище, доведением до автоматизма навыков обращения с оружием. Запах большой битвы, растущий по мере приближения к линии фронта, притупил воображение, вернее, перевел его на другие рельсы. Теперь оно рисовало перед ним картины будущих боев, его, молодого командира, вместе со своим взводом, прорывающим укрепления противника. Вот он ползет по снегу и, мгновенно оценив обстановку, передает приказ по цепи. Противотанковые ружья обстреливают амбразуры дотов, пулеметчики подавляют огонь стрелкового оружия, и взвод перебежками добирается до вражеских траншей. – За Родину! – Макс поднимается во весь рост и впереди атакующей цепи первым врывается во вражеские окопы.

Тут воображение начинало пробуксовывать, – что происходит внутри окопов, как пойдет рукопашная, Макс пока не знал. Зато последствия он представлял себе довольно четко.

– Кто первый прорвал оборону противника? – спрашивает командующий армией Тимошенко, и начальник штаба тут же докладывает: – Младший лейтенант Додсон!

– Почему младший? – удивляется командующий. – И почему лейтенант? За геройский прорыв представить его к капитанскому званию и поручить батальон. Такие молодцы нам нужны. Да, вот еще что, – добавляет командующий, – от моего имени подайте представление на орден Красной звезды. Нет, Красного Знамени.

– Михалыч, – ворвался в мечты голос сержанта Яковлева. – Послать ребят за углем?

– Пошли, конечно, пошли, – согласился младший лейтенант.

Их дырявый вагон насквозь продувал студеной ветер, спасала только топящаяся без остановки печурка. На остановках солдаты бегали к паровозу и набирали уголь из тендера. Помощник машиниста ругался, но давал.

Додсон помахал руками, разминая мышцы. Гимнастерка вкусно пахла хлебом, который поджаривали прямо на огне печурки, угольным дымом, особым, почти домашним духом теп-

лушки. Скучное зимнее солнце вдруг расщедрилось, снег между двумя путями, прибитый множеством ног, заискрился, заиграл; окна штабного вагона стоящего напротив теплушки Додсона засияли, полосы наледи под крышей превратились в сверкающие всеми цветами радуги алмазные ожерелья.

По ступенькам вагона сошла девушка. Додсон оценивающе пробежал по ней взглядом и замер. То, что произошло, напоминало солнечный удар. Когда-то в детстве он пересидел с друзьями на речке и, возвращаясь домой, вдруг остолбенел от внезапно обвалившегося на него света.

Каждый юноша рисует в своем воображении образ прекрасной девушки: волосы как у одной киноактрисы, фигура как у другой, нос словно у Светки со второго этажа, глаза, будто у Лизы из параллельного класса. В общем – собирательный образ. Женская красота тем и отличается от мужской, что сложена из частей. Плывучая гармония их сочетаний и поражает сердце юноши. Свой внутренний эталон он примеряет на каждую встречную, ревниво оценивая – похоже или не похоже. Полного совпадения, как правило, не случается, но даже приблизительного соответствия оказывается достаточно.

Девушка, спустившаяся по ступенькам, в точности совпадала с идеалом младшего лейтенанта. Увидеть материализацию мечты – удел редких счастливых. Тут немудрено и остолбенеть. Удивительным было другое, похоже, что Додсон совпал с идеалом девушки – она, как и он, замерла на месте, уставясь на младшего лейтенанта расширенными от изумления глазами. Сколько продолжалось это оцепенение, трудно сказать. Может – секунду, а может – вечность. Смотри, какими часами измерять.

Наконец, не сговариваясь, они пошли навстречу друг другу.

– Давай убежим, – плохо повинующимся языком предложил Додсон.

– Давай.

Они побежали вдоль составов, ища хоть какую-то лазейку, укромное место, где можно, спрятавшись от чужих глаз, прикоснуться, обнять – ах, сколько всего томительного и невозможного хотелось им сделать друг с другом, прямо сейчас, посреди засыпанного снегом, разбомбленного и сожженного полустанка.

Но вагоны тянулись сплошной, беспощадной стеной, из открытых дверей на них смотрели десятки глаз, и некуда было ни спрятаться, ни скрыться.

Заревел паровоз. Раз, другой, третий. Поезд Додсона, насадно скрипя, сдвинулся с места.

– Имя! – закричал младший лейтенант. – Как тебя зовут?

– Полина! Полина Гиретер!

– А меня Макс! Макс Додсон!

Поезд набирал ход. Додсон побежал к своей теплушке. Вдруг он остановился и снова крикнул:

– Номер полевой почты?

– Девяносто два десять!

– А мой – семьдесят шесть двадцать!

Добежав до теплушки, Додсон ухватился за протянутую из двери руку, ловко подпрыгнул и через секунду, перевесившись через заграждающую проход доску, смотрел на Полину. Минута, другая, поезд чуть повернул в сторону, и мотающийся из стороны в сторону, запыленный снегом бок соседнего вагона, скрыл ее из виду.

Спустя полчаса эшелон Полины двинулся следом. Яркое блесело солнце, нескончаемая белизна полей, лишь иногда прерываемая черными пятнами бомбовых воронок, слепила глаза. Горьковатый паровозный дым висел за окнами, холодно стучали колеса по выстуженным до звона рельсам. Вместе с поездами Додсона и Полины к фронту двигались еще десятки составов, унося в своем чреве тысячи людей, судеб, надежд, разочарований и

просьб. И вся эта гигантская масса ехала навстречу смерти, ехала умирать, еще не зная, не догадываясь об этом, ехала прямо туда, что потом назовут «Харьковским котлом».

Додсону повезло – его ранило в первом же бою. Осколок мины раскромсал правую руку, младшего лейтенанта быстро доставили в полевой госпиталь, зашили, посадили в госпиталь на колесах и повезли в тыл. Прошло всего два дня, и вот он уже возвращался по той же самой дороге, так же звенели на стыках мерзлые рельсы, нестерпимо блестел снег за окном и только новое в его теле, нескончаемая, нудная боль напоминала, что все переменилось и все теперь будет по-другому.

Первое письмо он написал, как только вынырнул из боли, второе – через два дня после первого, третье на следующий день. Рука еще тянула, покалывала, после нескольких букв приходилось откладывать карандаш и переводить дух, но он писал и писал, словно в этих письмах таилось его спасение.

Ответ пришел через два месяца, почти перед самой выпиской:

«Указанный номер полевой почты больше не существует».

Додсон хорошо понимал, что это могло означать. О событиях на фронте он знал не по радио, а из первых рук, от уцелевших солдат, лечившихся в том же госпитале. Судя по всему, часть Полины была уничтожена или взята в плен вместе со знаменем. Такие подразделения расформировывали, а номер почты отменяли.

Он пытался отыскать ее все три фронтовых года. Писал письма, расспрашивал, наводил справки. Даже в СМЕРШ угодил за чрезмерное любопытство. Еле отговорился: объяснил, что невеста была из пропавшей части. Наверное, ему просто повезло, «особистам» подкатили иные, более важные дела, и его выпустили из когтей.

Да, по всем законам нормальной логики он потерял ее навсегда, навечно. Но сердце отказывалось верить. Где-то там, в самой глубине таинственного сумрака, называемого человеческой душой, Додсон знал: Полина жива и ждет встречи. Оставалось надеяться только на чудо.

Сразу после демобилизации Додсон поехал в Гомель. Через Москву. Вернее через Подольск, главный архив Красной Армии. В большой приемной он долго разыскивал нужный бланк, выяснял, какие графы заполнять, сажал от волнения кляксы и два раза переписывал заявление. Закончив бумажную канитель, он подошел к приемному окошку. Стоявшая перед ним девушка с тремя лейтенантскими звездочками на погонах нервно переминалась с ноги на ногу.

«Волнуется», – подумал Додсон. Ему тоже было не по себе, но он, боевой капитан, прошедший войну, старался не показывать свои чувства. Додсон внимательно оглядел спину девушки, каштановые, с рыжими прядями волосы, и вдруг почувствовал, как его сердце, непонятно отчего, забилося, застучало, набирая ход, словно трогающийся с места поезд.

Девушка поправила юбку и, приглаживая гимнастерку завела за спину руку с бланком. Додсон мельком взглянул на него и оторопел: в самом верху, крупными буквами была написана его фамилия.

– Извините, – произнес он, спустя несколько секунд. – Извините, какого Додсона вы разыскиваете?

Она обернулась, и все вопросы отпали сами собой.

Летом шестьдесят четвертого года Додсоны отдыхали в Крыму. На ялтинской набережной, пока Полина с маленьким Мишей, названным в память о Моисее, отце Макса, сгинувшем в метели оккупации, лакомились мороженым, к Додсону, курившему на скамейке, подсел мужчина. Невысокий, начинающий полнеть, с большими залысинами на влажно блестящем от пота лбу.

– Не узнаешь меня? – обратился он к Максиму после короткой паузы.

– Нет.

– Посмотри, посмотри внимательно.

Макс присмотрелся. Лицо мужчины действительно было ему знакомым.

– Напомню, – усмехнулся мужчина, и указал подбородком на столик под жестяной пальмой, где Полина кормила Мишку мороженым. – Это с ней связано.

И Макс вспомнил.

– Смерш! Капитан...э... простите, позабыл вашу фамилию.

– Да какая теперь разница. И не капитан уже, и не на службе. И вообще, – он провел рукой по залысинам, – многое с тех пор переменялось.

– А вы мне не верили! – с укоризной сказал Додсон. – Видите, вот она, невеста, а теперь жена. Ее и разыскивал.

– Это я-то не верил, – усмехнулся бывший капитан. – Да ты, парень, не только семейным счастьем своим, жизнью мне обязан!

– Как это, жизнью?

– Да очень просто. Приказ о твоём аресте уже был готов, осталось только подписать. А тут пришел запрос от твоей девушки. Она тебя разыскивала, как ты ее. Я мог запрос выкинуть, арест произвести и заработать на тебе благодарность, а то и звездочку. Да пожалел. Вот, подумал, война вокруг, смерть, разрушение, шпионы немецкие, а у людей любовь. И, похоже, настоящая, если, один раз встретившись, так долго ждут. Ну, приказ порвал, а запрос подшил в дело и закрыл его потихоньку.

– Почему же вы промолчали, что Полина жива! – воскликнул Макс. – Я ее потом насилу отыскал.

– Лучше спасибо скажи, что жив остался, – усмехнулся бывший капитан, поднимаясь со скамейки. – Ты на моей памяти один такой. Ускользнувший. А вообще, на благодарность людскую рассчитывать гиблое дело. Добра никто не помнит, ни один человек. Только претензии, только жалобы. Эх, да что там....

Он махнул рукой и, слегка шаркая подошвами, пошел по набережной, сутулой походкой неудачника.

– С кем ты разговаривал? – спросила Полина, выйдя из кафе. – Какой неприятный тип.

– Да так, – рассеяно пробормотал Додсон, доставая папиросу. – Знакомого встретил. Думал, он давно в генералах ходит или в полковниках. Я его негодяем считал, а он оказался порядочным человеком. Н-да. Малое чудо войны...

* * *

В Курган Додсоны попали по распределению. Макс восстановился в индустриальном техникуме и, закончив его в числе лучших, получил престижное назначение на танковый завод, а Полина, поехав вместе с мужем в далекий зауральский город, перевелась в Курганский педагогический на пятый курс по русскому языку и литературе.

Семья Додсона так и не отыскалась. Сгинула, пропала в черной метели оккупации, не оставив ни следов, ни свидетелей.

Все эти подробности Миша узнал позже, уже подростком. Отец, возвращаясь с работы, подолгу отдыхал, сидя на лавочке во дворе, неспешно покуривая, отхлебывая чай. Стакан в простеньком жестяном подстаканнике стоял на той же лавочке, и когда чай заканчивался, старший Додсон, не спеша, шел в дом, наливал новый. Выпив три-четыре стакана, он впадал в благодушное настроение и, если Миша оказывался рядом, пускался в обстоятельные рассказы.

Если же Миша отсутствовал, Макс Михайлович принимался за работу по дому. Ее всегда хватало, особенно для человека, ищущего, любящего возиться с домашним хозяйством. Ни одна половица в доме Додсонов не скрипела, дрова всегда были заготовлены на год

вперед, замки открывались от малейшего усилия ключа. Каждый день Макс Михайлович, словно дядька Черномор, обходил свои пределы, и любую обнаруженную неисправность тут же доводил до ума, спокойно и обстоятельно. Руки у него были умелые, терпения в избытке, поэтому все получалось как нельзя лучше.

Но если, паче чаяния, неисправность или поломка не обнаруживались, Макс Михайлович садился за газеты. Выписывал он две: областную «Советское Зауралье» и московскую «Правду». Читал с карандашом в руках, подчеркивая наиболее интересные места, с тем, чтобы вечером, когда Полина закончит проверку тетрадей, прочитать ей вслух, а потом вместе обсудить новости, сначала городского, а потом общесоюзного масштаба.

Закончив с газетами, Макс Михайлович приступал к художественной литературе. Читал он всегда одного и того же автора – Николая Семеновича Лескова, к книгам которого пристрастился в госпитале. К счастью и радости Додсона, Лесков написал много томов, и при неспешном, со смакованием каждого слова и предложения, степенном впитывании текста, собрания сочинений хватало на несколько лет. Добравшись до последнего тома, Макс Михайлович открывал первый и начинал с самого начала.

Читателем он был благодарным: не раз и не два посреди рассказа откладывал он книгу в сторону и, смахивая слезы, шел к рукомойнику умываться. Особенно любил он «Тупейного художника» и мог читать его несколько раз подряд.

Неоднократно пробовал Макс Михайлович книги и других авторов, но после десятка страниц откладывал со вздохом огорчения.

– Хорошо, – говорил он, – кто ж спорит, хорошо написано, да только куда им с Николай Семенычем тягаться.

Война выжгла, притупила сердце Макса Михайловича. За несколько фронтовых лет он успел утолить до предела жажду нового, присущую молодым людям его возраста, а виденных смертей и страданий хватило бы на добрую сотню безвоенных судеб. Подобно тому, как зажили раны на теле Макса Михайловича, затянулись и ожоги его сердца. Шрамы, пометившие спину и ноги, не мешали, только кожа на них навсегда осталась менее чувствительной, но душа, душа под розовыми пятнами новой плоти скукожилась, утратив прежний размах и полет. Макс Михайлович не замечал наступившей перемены. Ему казалось, будто он остался таким же, как до войны, лишь опыт прибавился, а с ним и понимание жизни. На самом же деле он закрылся, точно цветок на закате, укрыв чувства под оболочкой снисходительного безразличия. Теперь ему хотелось только покоя. Извечный кругооборот жизни, неизменное чередование будней и праздников, лета и зимы, подрастающий сын, надежная любовь Полины – он опирался на них, словно древняя земля на китов, и не желал ничего другого.

Жили Додсоны в небольшом деревянном доме почти в центре города. Приехав в Курган, молодой специалист получил развалюху, с трудом перезимовал в ней первую зиму и уже весной перестроил, превратив в крепкий пятистенок, с чердаком и сараем. На крохотном участке земли за домом Полина выращивала картошку и огурцы.

От улицы двор отделялся забором из ровного штакетника, тяжелую калитку запирала железная щеколда. Каждое лето Миша красил забор. Поначалу его злила нелепая трата времени, а потом, прочитав Тома Сойера, принялся воображать себя американским мальчишкой. Сравнение с американцем скрашивало заурядную работу. Закончив последнюю штакетину, Миша мыл кисти и шел купаться на Миссисипи.

В углу двора стояла беленая мелом будка, «внешние удобства», как шутил Додсон-старший. Летом в ней невыносимо воняло, а зимой стоял лютый холод. Но Миша не обращал внимания ни на первое, ни на второе – это была привычная для него, родная обстановка и он жил в ней естественно и просто, не ощущая никаких затруднений.

О семье матери Миша знал куда больше, чем о семье отца, ведь почти вся она уцелела, пережив и смутное время репрессий, и войну, и послевоенные передраги.

Бабушку и дедушку Миша не застал, они умерли, когда ему было три года. Сначала ушел дед, удивительный, необычный тип еврейского зверолова, а вслед за ним, спустя несколько месяцев, и бабушка. Из трех дядьев старший потерялся во время гражданской войны, средний пропал без вести, оставшись в осажденном Севастополе, а младший, Ефрем, жил в Новосибирске, женившись на Оксане, спокойной, рассудительной женщине с округлым лицом, русыми, расчесанными на пробор волосами и глазами, похожими на осколочки голубого неба. Вся она была какая-то мягкая, вкрадчивая, ходила осторожно, неслышно передвигая полные ноги, и к дяде Ефрему относилась, будто к своей безраздельной собственности, командуя даже не голосом, а едва заметным наклоном головы или подъемом бровей. Однако дядю, похоже, вполне устраивало такое рабство; он подчинялся жене с радостью и даже рвением, высматривая, улавливая на ее лице команду, чтобы, разглядев, тут же броситься выполнить.

Дед Абрам приехал в Сибирь в начале двадцатого века, когда тысячи крестьянских семей двинулись на север в поисках лучшей доли. Земли он получил неожиданно много, но обрабатывать даже не пытался. Жил охотой, продавая шкурки белок, горностаев, соболей. Не брезговал медвежьими и лосиными шкурами. Охотником он слыл изумительным, в его шкурках не было ни малейшего изъяна. То ли он ловил зверьков какими-то неизвестными силками, то ли попадал им точно в глаз. Налоги Абрам Гиретер никогда не платил, а изредка посещавший деревню жандарм при его виде почтительно прикладывал два пальца к козырьку.

В чем причина такого особого положения, никто не знал. Жил дед Абрам замкнуто, с соседями почти не общался. На деревне говаривали, будто ему ведомо заветное слово, и звери сами прибегают к жиду домой, безо всяких капканов и ружейной стрельбы.

– Убивает не пуля, а мысль, – посмеивался дед Абрам. – Если голова нацелена, куда надо, то и пуля не нужна.

Он много читал, самостоятельно выучил несколько языков и был единственным не городским подписчиком на столичные журналы во всей губернии. Оставшиеся после него книги и инструменты забрал дядя Ефрем, а матери привез несколько мешков тряпья и старинный сундук. Сундук был громоздким и неудобным. При всей своей огромности – внешне он напоминал здание – места внутри было довольно мало. Абрам привез его как трофей с Дальнего Востока, возвратясь после русско-японской войны. Дядя Ефрем ни за что бы не стал тащить его в Курган, если бы не наказ бабушки. Умирая, она велела передать сундук Полине. Зачем, для чего, так и не сказала. Отвернулась к стене и замолкла. А утром уже не проснулась.

Миша давно подбирался к сундуку, но мать не разрешала даже открыть его. Впрочем, от возможных посягательств сундук оберегал замок, напоминающий серп луны. Скоба входила в края полумесяца, а замочная скважина приходилась точно на середину и располагалась вдоль, напоминая улыбающийся рот. Миша неоднократно пытался открыть замок, притаскивал разные ключи, но ни один не подошел. «Луна» только посмеивалась над его попытками.

Сундук стоял на чердаке точно против Мишиной кровати. Засыпая, он представлял его светло-коричневые стены с выступами, напоминающими декоративные колонны, крышку с двумя башенками по углам, и ему казалось, будто сундук затягивает в себя его сон, и он, Миша, взлетая с постели, оставляет свое тело неподвижно лежащим на кровати и вслед за сном погружается в бархатисто-черную мглу. Страха полет не вызывал, напротив, очень хотелось узнать, что скрывается за сумеречной подкладкой темноты, но глаза закрывались уже на вылете, какую-то долю секунды мерещились люди, одетые в ниспадающие белые

одеяния, верблюды, пальмы, отверстие в скале, напоминающее вход в пещеру, и все – дальше наступала ночь.

Занявшись астрономией, Миша потребовал от отца место для всякого рода инструментов, приспособлений и частей будущего телескопа. Поначалу их было немного, и подоконника на чердаке, выделенного отцом, хватало, но быстро выяснилось, что это только начало разговора.

– Инструмент – как нижнее белье, – говорил Кива Сергеевич, с явной неохотой протягивая Мише отвертку или ножницы. – Только для личного пользования. Астроном должен иметь свой, по руке подобранный, душой согретый. И вообще, – пускался в откровения Кива Сергеевич, – инструменты, они будто люди, только очень молчаливые. Станешь с ними дружить – не подведут в работе, будешь пренебрегать, получишь такое же отношение.

От него исходил мягкий запах нюхательного табака, перемешанный с ароматом нагретых солнцем стропил обсерватории, в которой он проводил большую часть своей жизни. Остро пахли химические растворы, пропитавшие края рукавов его рубашек, едва угадывался влажный вкус ночной сырости, и это дразнящее облачко, манившее Мишу, он называл «ароматом звезд».

Список инструментов, составленный Кивой Сергеевичем, Миша передал отцу, и вскоре не только подоконник, но и пол чердака возле подоконника покрылся кулечками, свертками и коробочками.

– Сундук, – попросил Миша у мамы. – Мне нужен сундук.

Полина долго смотрела на сына, словно взвешивая, оценивая его на зрелость владения фамильной реликвией.

– Вообще-то сундук принадлежит Мордехаю, – наконец произнесла она.

О дяде Мордехе, пропавшем во время гражданской войны, в их семье предпочитали не говорить. На Мишины расспросы мать отвечала короткими фразами, словно скрывая ответ. Перед началом германской войны Мордехай, еще совсем юноша, уехал учиться в Литву и не вернулся.

– А на кого он учился, мама?

– Готовился стать духовным лицом.

– Попом, что ли? – привитое в школе презрительное отношение прорвалось наружу.

– Во-первых, не попом, а батюшкой. А во-вторых, у евреев лиц духовного звания называют раввинами.

После гражданской Литва стала самостоятельным государством, и всякая связь, кроме почтовой, прервалась. От Мордехая пришли несколько писем, с перерывами в годы. Из Литвы он перебрался в Польшу, где, по его словам, поступил в ученики к знаменитому законоучителю, главному раввину Вильны. А потом началась вторая мировая война.

– Вряд ли он жив, – грустно сказала мама. – Был бы жив, наверняка переслал бы весточку. Скорее всего, он отдал бы тебе сундук. Мордехай относился к нему с большим почтением, уж не знаю, почему.

Миша взял из рук матери ключ и помчался на чердак. Ключ представлял собой затейливое сооружение из множества перевитых между собой железных жгутиков. С одного конца оно плотно держало бородку, с другого его увенчивало схематическое изображение солнца: кольцо с исходящими лучами.

«Трудно же будет крутить такой ключ», – подумал Миша. Но его предположение оказалось неверным: замок раскрылся, как только бородка вошла в скважину.

Внутри сундук оказался небольшим, особенно мешала перегородка, разделявшая его по высоте. Это была плита, полностью перекрывавшая сундук и разделенная планками на несколько отделений. Видимо, в них хранили всякие мелкие вещи, наподобие карандашей, мелков, катушек с нитками. Мише эта перегородка показалась похожей на план здания, с

которого сняли крышу. Выглядела она довольно красиво, но пользоваться сундуком из-за нее было очень неудобно.

Если потянуть за две ручки, перегородка поднималась вверх и замирала на петлях, открывая доступ во внутреннюю полость. Между ней и краем сундука оставалось пространство достаточное, чтобы просунуть сквозь него одежду или одеяло, но мало подходящее для астрономических причиндалов. После недолгих размышлений Миша решил снять перегородку.

Внимательно осмотрев механизм подъема, он надпилил и вытащил оси петель, после чего отсоединил перегородку и поставил ее в угол. Перед тем, как замотать мешковину, Миша осмотрел все отделения. Ничего, пусто, только пыль. Похоже, что перегородку никогда не использовали для хранения: шоколадная поверхность лака, покрывавшего отделения, была девственно чистой, без единой царапинки.

Работа шла легко; отвертки, пилки, кусачки сами просились в руки. Еще бы, ведь на их доводку ушло несколько недель. Кива Сергеевич придирчиво перебрал принесенные Максом Михайловичем инструменты и скривил рот.

– Примитивные заготовки. Вот это, – он брезгливо приподнял двумя пальцами стамеску, – так же похоже на рабочий инструмент астронома, как топор первобытного человека на скрипку Страдивари. За работу, за работу, молодой человек.

Для начала Миша снял с рукояток слой грубой заводской краски, тщательнейшим образом отполировал и покрасил заново. Когда рукоятки высохли, покраска повторилась. На третий слой краски Миша нанес лак, после чего принялся за балансировку. Каждый инструмент он подолгу раскачивал в руке, примеряясь, прилаживаясь. Гладкая, вкусно пахнущая рукоятка приятно ложилась в ладонь, но Кива Сергеевич требовал большего:

– Жало отвертки должно стать продолжением твоих пальцев. Если ты научишься чувствовать шлифовальник, как ноготь, малейшая впадинка или выступ на линзе станут отзываться морозом на твоей коже. Полировальный диск должен петь под твоей рукой, петь, а не стонать. А для этого нужны любовь, уюхане, – и усидчивость.

Несколько раз Миша возвращал отцу инструменты и тот, по указаниям Кивы Сергеевича, урезал, подгибал, стачивал, шлифовал, напаивал. Получив их обратно, Кива Сергеевич устраивал Мише экзамен; долго рассматривал, как он работает, прислушивался, чуть ли не принимался. На каком-то этапе переделок Миша действительно стал относиться к железным стержням и трубкам как к продолжению собственных пальцев. Инструменты сроднились с его ладонями, прилипали к коже, ладно ложились под пальцы. И настал день, когда Кива Сергеевич сказал:

– Все. Можно продолжить телескоп.

Покончив с перегородкой, Миша внимательно осмотрел сундук. Мало ли какие неожиданности сулят семейные реликвии, хранящиеся на чердаках. Увы, кроме пыли, он ничего не обнаружил. На боковой стенке, у самого основания он разглядел две надписи, сделанные на непонятном языке. Судя по гебраистскому начертанию букв, это был идиш или, возможно, иврит. Наверное, кто-нибудь из Мишиных предков написал свое имя или адрес.

Мишу эти подробности не интересовали, его душа рвалась к Луне, манящей и трепетной царице его сердца. О, сколько хлопот, огорчений и неприятностей смог бы он сэкономить, догадайся расшифровать надписи!

Пока Миша возился на чердаке, а Макс Михайлович справлялся с шестью чашками чая, Полина сидела за столом с отвернутой до половины скатертью и проверяла тетради. Привычная, рутинная работа шла медленно, мысли Полины то и дело сбивались на иной лад, уносясь к одному эпизоду из ее не столь богатой событиями жизни.

В конце сорок четвертого года Полина служила шифровальщицей в разведотделе армии. Война шла к концу, атмосферу уже наполнял пьянящий воздух близкой победы.

Появилось много трофеев: часы, украшения, посуда из необычно тонкого фарфора. Любой из них мог легко достаться девушке из штаба, стоило ей лишь одарить своей благосклонностью его обладателя, приехавшего по делу с фронта. Капитаны, майоры и полковники были молодыми мужчинами, многие только на войне перевалили порог юности, а шифровальщицы, машинистки и прочие работницы штаба едва успели закончить школу. Романы возникали и рушились, словно молнии в грозовую ночь, смерть, несмотря на приближающуюся победу, ходила рядом, и ее соседство придавало любовным интрижкам особую остроту.

Полина, после короткой встречи на полустанке, долгие месяцы не могла даже подумать о ком-либо другом, кроме младшего лейтенанта. Но время шло, ее письма, написанные под впечатлением встречи, вернулись – полевая почта под таким номером перестала существовать. Что это могло означать, было ясно, и оставалось надеяться только на чудо. Но чудо во фронтовой жизни из явления редкого и необычного превратилось в вполне заурядное событие. Вокруг приключались невероятные чудеса, и Полина потихоньку привыкла жить с мыслью, будто и с ней произойдет нечто подобное.

Начальник шифровального отдела, Евгений Джосов, слыл самым коварным сердцеедом во всем штабе армии. Внешность у него для этой роли была подходящая: высокий улыбчивый брюнет с крепкими плечами вразлет, танцующей походкой и острым взглядом широко расставленных глаз. Глубины они были такой, что, казалось, засмотришься да и улетишь в них, ухнешь в пропасть, заполненную влекущим черным мраком.

Его гимнастерка и галифе всегда были безупречно выглажены, а яловые сапоги сияли в любую погоду. Когда только он успевал наводить на них глянец, никто не понимал. Случалось, что Джосов сутками не выходил из штаба, потом мчался куда-то на джипе, по снегу или под дождем, но возвращался неизменно свежий, с улыбкой на губах и неизменным блеском расчищенных сапог.

Джосов прекрасно знал английский, на фронт его забрали прямо из МГУ, и он всегда вкручивал в свою речь разные английские словечки. За глаза девушки называли его Джеймсом, но Джосову, похоже, такая кличка скорее импонировала, чем сердила.

С некоторых пор Джеймс начал выказывать Полине знаки внимания. Подолгу, заглядывая в глаза, разговаривал на разные служебные темы, перебирая неважные и ненужные мелочи, отпускал домой при первом удобном случае. Полина жила вместе с двумя девушками на квартире неподалеку от штаба и, забравшись на свою койку в пустой комнате, размышляла о жизни, о майоре и неизвестно где находящемся юном лейтенанте.

– Ой, Полинка, – шутили шифровальщицы, – что будет, что будет! Пропадешь ни за ломаный грош.

– Не пропадет, – уверяли предыдущие жертвы Джеймса. – Это не называется пропасть. Упасть, – тут они томно вздыхали, – упасть, несомненно, упадет. Но падать с Джеймсом одно удовольствие. Он такой... такой... галантный, – наконец выговаривала одна, не зная как иначе описать мужские достоинства майора.

– И неутомимый, – присовокупляла другая.

– И нежный, – добавляла третья.

Девушки относились к Джосову, словно наложницы к хозяину гарема, и этот статус, полученный не силой денег, а волшебством обаяния, майор поддерживал с величайшей искусством и деликатностью. Любой другой на его месте давно бы нарвался на скандал или сцену ревности, но Джеймс каким-то чудом умел не только мирно сосуществовать с бывшими пассиями, но и на их глазах заводить новых любовниц. Одним словом, этот человек обладал незаурядными дипломатическими способностями.

Как-то вечером он задержался в отделе до глубокой ночи. Навалилось много срочной и сложной работы, и Джеймс делал ее собственноручно. Из всех шифровальщиц он оставил одну Полину и, закончив очередной лист, перебрасывал его ей для проверки. Работал он

безукоризненно: быстро и без единой пометки. За весь вечер Полине удалось поймать только три небольшие ошибки, скорее даже, описки, не меняющие смысла шифруемого текста.

Перед уходом, когда они подошли к вешалке с шинелями, Джеймс обнял Полину и осторожно прикоснулся губами к ее губам. Он не целовал ее, нет, а просто приложил губы к губам, так, что его мягкие каштановые усики чуть щекотали ее нос. Его правая рука нежно гладила ее по спине, между лопатками, прямо поверх пуговиц бюстгальтера, а левая едва ощутимо легла на грудь.

Полину потянул, закрутил сладкий омут, ей захотелось прижаться к Джеймсу всем телом и поплыть, поплыть вместе с ним по еще неведомой ей реке.

– А меня Макс! Макс Додсон! – прозвучал в ее ушах голос младшего лейтенанта. – Семьдесят шесть двадцать!

Полина отстранилась.

– Ты не думай, girl, – жарко зашептал Джеймс, придвигаясь, – я серьезно. Влюбился в тебя по самые уши. Пробралась ты в мое сердце обходным маневром. Думаю только о тебе, просыпаюсь с этой мыслью и засыпаю с ней же. Выходи за меня замуж.

Полина с удивлением посмотрела на майора. Ни одна из его бывших пассий никогда не рассказывала о подобном предложении.

– Не веришь?

– Не верю.

– Вот, послушай. Меня скоро переводят. Забирают в Москву. Поехали со мной, baby. Поженимся и поедем вместе.

У Полины закружилась голова. Майор ей всегда нравился, но мысль о том, что придется стать «одной из», мгновенно отрезвляла. Ну и Додсон, младший лейтенант Додсон ...

– Не веришь? Тогда я обещаю, – Джеймс отодвинулся на шаг. – До свадьбы пальцем к тебе не прикоснусь. Ни одним пальцем.

В знак доказательства он поднял вверх правую руку и оттопырил мизинец с длинным ухоженным ногтем.

Ночью Полина долго не могла уснуть. Да и какой девушке спится после того, как ей впервые делают предложение. Варианты будущего, поначалу казавшиеся невозможными, к утру приобрели вкус реальности, а шальная перспектива выглядела вполне конкретным проектом судьбы. И без того смутный образ младшего лейтенанта в рассветном сумраке почти сошел на нет. Проснувшись, Полина решила принять предложение Джеймса.

– Но без рук, – повторяла она себе. – Только без рук. Если сдержит свое обещание, тогда ему можно верить и в остальном. Если же нет... В конце концов, она ничего не теряет. И так, для девушки ее возраста и внешности, – Полина подходила к зеркалу и еще раз придирчиво оглядывала себя с головы до ног, – да, ее внешности, она ведет себя более чем скромно. Ведь Додсону она ничего не обещала, они ведь и поговорить не успели, только обменялись номерами полевой почты. С тех пор прошло два года, и она честно-честно была верна лейтенанту, так, словно дала ему слово.

В штаб Полина шла радостно, словно на Первомайскую демонстрацию, но по мере приближения к двери отдела тысячи демонов сомнений начали терзать ее сердце.

«Рассказать девушкам или не рассказать? Как вести себя с Женей – дурацкую кличку Джеймс она больше не хотела произносить – сразу сообщить, что согласна, или дожидаться повторного предложения?»

День шел подобно всем другим дням, Джосов то сидел за своим столом, заваленным бумагами, то выбегал из комнаты, не забывая ласково глянуть на Полину. Когда девушки собрались на обед, он так многозначительно посмотрел ей в глаза, что она, сразу уловив намек, вернулась на свое место.

Когда все вышли, Джосов быстро приблизился, сел рядом.

– Ну, что, my heart, пойдешь за меня?

– Пойду, – ответила Полина и покраснела.

Он осторожно взял ее руку и нежно поцеловал.

– Давай пока держать это в тайне. Мы ведь с тобой шифровальщики, умеем хранить секреты. Зачем возбуждать толки и пересуды. Ты согласна?

Полина кивнула.

– Все может случиться быстрее, чем я думал. Прямо на днях. Ты потихоньку готовься, сложи вещи, ну, и вообще, – Джосов помахал рукой будто разгоняя дым от папиросы. – Я возьму тебя как сопровождающую, а поженимся уже в Москве. Подальше от ревнивых глаз.

Она хорошо понимала его опасения. Он поступает умно и правильно: незачем зря беречь раны и вызывать людскую зависть.

Прошло несколько дней, наполненных работой, укромными взглядами и якобы случайными прикосновениями. Данное обещание Джосов держал, как настоящий английский лорд, а Полина, в свою очередь, не обмолвилась ни одним словом. Все складывалась наилучшим образом, но назвать себя счастливой она не могла. Клятва, пусть и не произнесенная вслух, успела пустить в ее сердце глубокие корни. Каждый день, прожитый вместе с Додсоном, а таких дней набралось уже немало, потихоньку поворачивал ее мировоззрение на мельчайшую долю, неуловимую часть градуса. Собравшись вместе, эти невесомые частицы сложились в настоящий сектор и теперь, сама того не осознавая, Полина смотрела на мир под другим углом, углом Додсона.

И вот, он настал, этот день. Джосов вернулся от начальства веселый, не таясь, присел возле Полины, приблизил лицо, округлил глаза.

– Завтра, my fair lady, улетаем завтра, в шесть утра. Иди домой, собирайся, я приеду за тобой в пять десять.

Вечером Полина во всем призналась соседкам по комнате. Дальше скрываться было бессмысленно, да и не нужно, через несколько часов шифровальный отдел с его пересудами, обидами и ревностью отставленных пассий останется далеко за спиной.

Ох, что началось в комнате! Сколько было визга, поцелуев, поздравлений, а потом предостережений и опасений. Прибежали девушки из соседнего дома, весть о женитьбе Джеймса разлетелась с быстротой молнии. Полину удивило, что это событие ее товарки трактовали не как радостное соединение сердец, а как ее, Полины, охотничий успех. Джеймс в их представлении выглядел большим, свободно гулявшим хищником, а она – смелым и удачливым ловцом.

Задремать ей удалось только на несколько минут. Ей приснился отец, он сурово качал головой и приговаривал:

– Коль нидрей, коль нидрей!¹

Спустя три часа она стояла на летном поле, рядом с Джосовым. Неподалеку разогревал моторы самолет, на котором им предстояло улететь в Москву. Джосов держал ее за руку, и она слышала, как он рассказывает о каком-то происшествии последней ночи, чуть не сорвавшем поездку. Она молчала, разглядывая темную махину самолета с едва освещенными иллюминаторами. Она чувствовала, как похолодели от утреннего мороза ее щеки и молила, сама не зная кого, чтобы он вразумил ее, дав понять, в чем состоит ее долг.

Самолет взревел моторами и подкатил прямо к ним. В полдень они с Женей будут уже в Москве, разве можно отступить, после всего, что он для нее сделал, после поздравлений и напутствий девушек. Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, во рту стало горько.

Она почувствовала, как Джосов сжал ее руку.

– Идем!

¹ Дословно «все обеты» – древняя молитва освобождения от зарок и заклятий, с которой начинается Судный день.

Ветра всех воздушных океанов бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в черную глубину неба, она погибнет, она уже никогда не вернется на землю.

– Идем!

Нет! Нет! Это невозможно. Ее ноги словно прилипли к земле. Из открытой двери самолета высунулся летчик и несколько раз приглашающе махнул рукой.

– Идем же! Больше нельзя ждать.

Немыслимо, невозможно.

– Макс! Макс Додсон! – прозвучал в ее ушах голос младшего лейтенанта. – Семьдесят шесть двадцать!

В пучину, поглощавшую ее, она бросила свой крик отчаяния и мольбы.

– Девяносто два десять! Девяносто два десять!

Джосов тянул ее за руку и звал за собой, но она не слышала, опустив голову. Перед ее глазами стоял утренний розовый снег на неведомом полустанке под Харьковом.

Летчик нетерпеливо помахал рукой и что-то крикнул, но Джосов даже не обернулся, продолжая что-то горячо говорить. Полина подняла голову и беспомощно, словно затравленное животное посмотрела прямо в его глаза. Не любя, не прощаясь, не узнавая...

Письмо третье

Дорогие мои!

На этот раз мне приснилось, что я превратился в растение, красивый цветок, с толстыми, влажно блестящими листьями, крепким стеблем и ветвистыми корешками. Я жил в горшке, заполненном вкусной землей. Горшок стоял на подоконнике и сквозь квадрат окошка я мог наблюдать удивительный мир, простирающийся за тонкой поверхностью стекла. В этом мире жили огромные ноги: они сновали, сустились, медленно расхаживали, прыгали, или стояли на месте, изредка меняя позу. Ноги принадлежали людям, похожим на тех, которые жили в комнате, примыкавшей к моему подоконнику.

Где-то вдалеке, в дальнем углу комнаты, были ступени, по ним люди спускались, возвращаясь с улицы, или поднимались – уходя. Дверь со скрипом распахивалась, и сквозь нее в комнату втекал ужасающий смрад. Но люди не обращали на него никакого внимания. Впрочем, они сами испускали еще худшее зловоние.

Людей в комнате жило трое, мужчина с всклокоченной бородой, женщина в вечно засаленном платье и девочка. Мужчину я почти не видел, он рано уходил и возвращался уже в темноте. Женщина тоже уходила рано, но все-таки позже мужчины. По вечерам, возвращаясь, они громко спорили, часто ругались, а иногда били друг друга, наполняя комнату гнилостными испарениями своих ртов и волнами ненависти. Цветы видят эмоции, и я мог наблюдать, как черные клубы злости обволакивают стол, заползают под кровати, оседают в углах.

С девочкой я дружил. Она почти не выходила наружу, днем тихонько играя на полу, перекладывая какие-то коробочки, рассаживая по стульям потрепанных кукол, а ночью спала возле меня, на постели, расположенной прямо под окном.

Мы часто разговаривали, вернее, она рассказывала мне разные истории, пела песенки, аккуратно протирая мои листья влажной тряпочкой. Если девочка выходила на улицу, она первым делом прибегала к окну, присаживалась на корточки и посылала мне воздушный поцелуй. Оконное стекло она тоже мыла, чтобы недолгие лучи солнца попадали на мои листья.

Если мужчина и женщина походили на грязные, волосатые шары, то девочка светила ровным оранжевым светом. В ее груди пульсировал небольшой шарик, похожий на маленькое солнце. Когда она садилась возле меня, я осторожно оплетал этот шарик

тонкими, невидимыми человеческому глазу лепестками. Мы становились одним целым, я и девочка, тепло шарика наполняло мой ствол, уходило в корни, питало листья. В эти моменты я любил ее самой нежной и преданной любовью, а она любила меня, рассказывая о всевозможных происшествиях ее маленькой жизни, жалуясь, а иногда плача. Впрочем, плакала она довольно часто, ее сладкие слезы капали на мои листья и я с восторгом пил эту чудесную влагу.

Начиная с ранней осени в комнате воцарился влажный холод, и девочка почти все время проводила в кровати, кутаясь в одеяло. Мужчина топил печку только по вечерам, гроя дровами, с непонятным ожесточением забрасывая уголь в красный проем. Наледь, покрывающая стекла, чуть-чуть оттаивала, и я вдыхал эти пары, мечтая о лете.

Девочка мечтала вместе со мной. По утрам, высовывая из-под одеяла тонкую ручку, она осторожно гладила мои листья и утешала меня, обещая скорое наступление весны. Я обвивал ее пальчики, прикасался лепестками к теплему шарiku и сразу чувствовал облегчение.

Зимой приходилось страдать от холода, но зато я наслаждался отсутствием смрада: люди, закутанные во множество одежек, меньше воняли, а с улицы, когда открывалась дверь, доносился только крепкий запах мороза, перемешанный с печным дымом.

Когда же наступило долгожданное лето, в комнате произошли перемены. Одним ранним утром мужчина ушел, с грохотом захлопнув за собой дверь, и больше не вернулся. Вместо него каждый вечер в комнату стали приходить другие мужчины. Каждый из них сначала долго ел и пил за столом, разговаривая громким, грубым голосом, а потом до середины ночи возился с женщиной на кровати за занавеской, распространяя невыносимое зловоние. Девочка не спала, сжимая пальчиками мои листья, ее плечики сотрясались от рыданий, но эти, за занавеской, ничего не слышали.

Она перестала петь, и начала рассказывала очень грустные сказки с несчастным концом.

– Ты мой единственный друг, – говорила она, целуя мои листики. – Ты мой единственный, единственный друг.

Ее оранжевый шарик потускнел и сжался. И светил он уже не так ярко, теперь мне приходилось долго-долго не отпускать лепестки, прежде чем живительная энергия проникала мои корни.

В один из дней я заметил, что в оранжевом фоне появились черные полоски, похожие на трещинки. Девочка почти перестала играть, и большую часть времени сидела на кровати, беззвучно шевеля губами. Иногда она протягивала руку и гладила мои листья. Наверное, мне не стоило прикидываться к ее оранжевому шарiku. Но я так привык, так сросся с ним, что попросту не мог оторваться.

Трещинки становились все больше и больше, превращаясь в пятна. Шарик потемнел, налился чернотой. Девочка слегла, ее тело регулярно сотрясали приступы кашля. Женщина носила ей какие-то порошки, поила молоком, но кашель не уходил, а черные пятна продолжали разрастаться.

Осенней ночью, когда за окном моросил холодный и злой дождь, девочка проснулась под утро, тяжело дыша, всхлипывая. Женщина только что заснула, утомившись от возни с очередным мужчиной, и не слышала стонов девочки. Она звала ее слабым голосом, звала долго, с хрипом раздувая горло. Но женщина не отвечала.

Оранжевый шарик дрожал и бился, словно пламя гаснущей свечи. Девочка перестала звать на помощь, и дрожащими пальцами прикоснулась к моим листьям. Я благодарно прикинул, охватил шарик своими лепестками, и он, несколько раз дернувшись, угас.

После того, как девочку унесли в деревянном ящике, моя жизнь превратилась в суицид. Женщина, и приходящие к ней мужчины начали курить прямо в комнате. Раньше, из-

за девочки, они выходили на улицу, и, только возвращаясь, приносили с собой удушающие миазмы табачной вони. Сейчас же густые клубы отравы витали в воздухе, оседали на мои листья, и постепенно проникали вовнутрь, нанося мне непоправимый вред.

Но хуже всего были окурки. Их втыкали в горшок, совершенно не заботясь о моем здоровье. Скоро земля скрылась под их черно-желтыми, отвратительно скорченными телами. Трупный яд умерших окурков быстро добрался до моих корней, и я стал чахнуть. Мои листья, прежде такие упругие и блестящие, побурели и начали опадать один за другим, а ствол скрючился. Но женщина не обращала на меня никакого внимания, ей даже в голову не приходило выкинуть окурки, полить землю водой, протереть листья. Еще бы, если она дала умереть собственному ребенку, разве ей было дело до какого-то цветка?

Ударили морозы. Печку теперь топили не каждый вечер, а время от времени и в одну из ночей, когда наледь на окне почти достигла края моего горшка, я умер.

Сейчас, сидя в своей комнатке, прислонившись спиной к теплой стене, я вспоминаю подробности жизни на подоконнике, и слезы стыда катятся из моих глаз.

Дорогие мои! Я совсем одинок в этом мире, кроме вас, вернее, памяти о вас, мне не к кому обратиться, некому рассказать, не у кого попросить прощения. Я виноват перед этой девочкой, виноват страшно, но ни исправить, ни загладить свою вину уже не могу. И если существует какая-то справедливость, если есть кто-то, способный оценить и простить, пусть он знает, что стыд, жгучий стыд испепеляет мое сердце и от этого огня некуда ни скрыться, ни убежать.

Любящий вас — сын.

Глава четвертая ГРУБАЯ ШЛИФОВКА

– Прежде всего, – сказал Кива Сергеевич, любовно поглаживая вырезанную Мишей заготовку, – займемся вогнутым зеркалом. Строить мы будем зеркальный телескоп. Почему зеркальный?

Он строго посмотрел на Мишу.

– Потому, что его придумал Ньютон, – не задумываясь, ответил Миша

– Уважение к авторитетам похвальная и мудрая привычка, – согласился Кива Сергеевич. – Она помогает избежать многих неприятностей. И все-таки, я вас спрашиваю, пан млоды, почему зеркальный, а не линзовый?

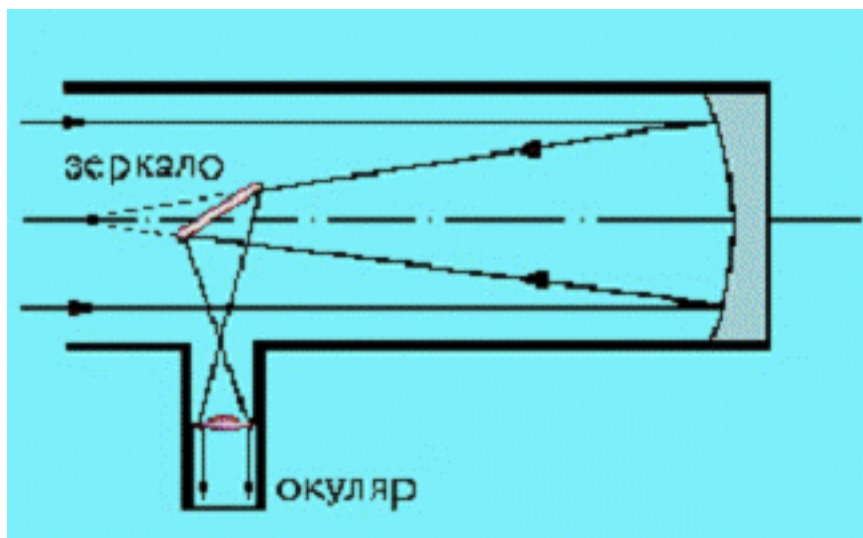
Он помолчал несколько секунд, вопросительно взирая на ученика. Миша, изобразив на лице абсолютное внимание, ждал.

– Потому, – назидательно произнес Кива Сергеевич, – что зеркало дает изображения лучшего качества, чем линзовый объектив. А еще потому, что для изготовления зеркала достаточно отшлифовать одну поверхность, а для линзового объектива придется шлифовать четыре поверхности двух линз. И останне, потому, что для контроля качества зеркала есть упомянутый тобой метод Фуко, а для линз такого метода нет. Итого, зеркало проще в изготовлении и дешевле, так чего же еще надо!

Он снял с полки альбом, и на чистом листе бумаги быстро набросал схему.

– Смотри, – Кива Сергеевич прикоснулся карандашом к рисунку.

– Справа – это наше главное зеркало. На него падает пучок света от звезд и, отражаясь, возвращается обратно. Из-за того, что зеркало вогнутое, оно собирает лучи в фокусе. Перед фокусом мы поставим еще одно, маленькое зеркало, которое направит пучок в окуляр, через который и будем наблюдать за небом.



Чем больше кривизна главного зеркала, тем сильнее оно увеличивает, поэтому мощность нашего, вернее, твоего телескопа, во многом будет зависеть от качества шлифовки. В наиболее благоприятном случае, – Кива Сергеевич оценивающе взвесил в руке заготовку, – ты сможешь добиться увеличения примерно в двадцать пять, тридцать раз. В такой телескоп можно рассматривать пятна на Солнце, горы на Луне, спутники Юпитера, кольцо Сатурна. Совсем неплохо, а?

Миша кивнул и сглотнул слюну. О лучшем и мечтать не приходилось. Конечно, по сравнению с телескопом в куполе бывшего монастыря, это было достаточно скромно, но зато, зато его можно будет поставить во дворе дома или высунуть в слуховое окно чердака и сидеть ночами, наблюдая за недоступной, бледнолицой красавицей.

Поучения Кивы Сергеевича его смешили. Он давным-давно разобрался в устройстве телескопов и точно знал, чем отличаются рефлекторы от рефракторов, но одно дело знать это теоретически, рассматривая рисунки и схемы, и совсем иное – построить его своими руками, от зеркала до треноги. Тут нужен был опыт и умение, которыми, как он рассчитывал, с ним поделится Кива Сергеевич.

– Пока ты возился с инструментами, – произнес Кива Сергеевич, вытаскивая из ящика стола металлическое кольцо, – я приготовил для тебя небольшой подарок.

– Что это? – глаза Миши загорелись. Подарками его не баловали, и любое проявление внимания он воспринимал как неожиданную радость.

– Шлифовальник, – гордо произнес Кива Сергеевич, протягивая ему кольцо. – С ним в руках ты проведешь многие часы. Не обещаю, что самые счастливые в твоей жизни, но, вне всякого сомнения, одни из самых плодотворных.

Миша покрутил в руках кольцо. Обыкновенный кусок трубы, диаметром примерно в половину меньше вырезанной им заготовки. Один торец гладко обработан, наверное, на токарном станке. Он вопрошающе поглядел на Киву Сергеевича.

– Прошу пана до столу, – жестом фокусника, сдергивающего покрывало с распиленной пополам артистки, он поднял со стола носовой платок. Под платком скрывалось некое сооружение.

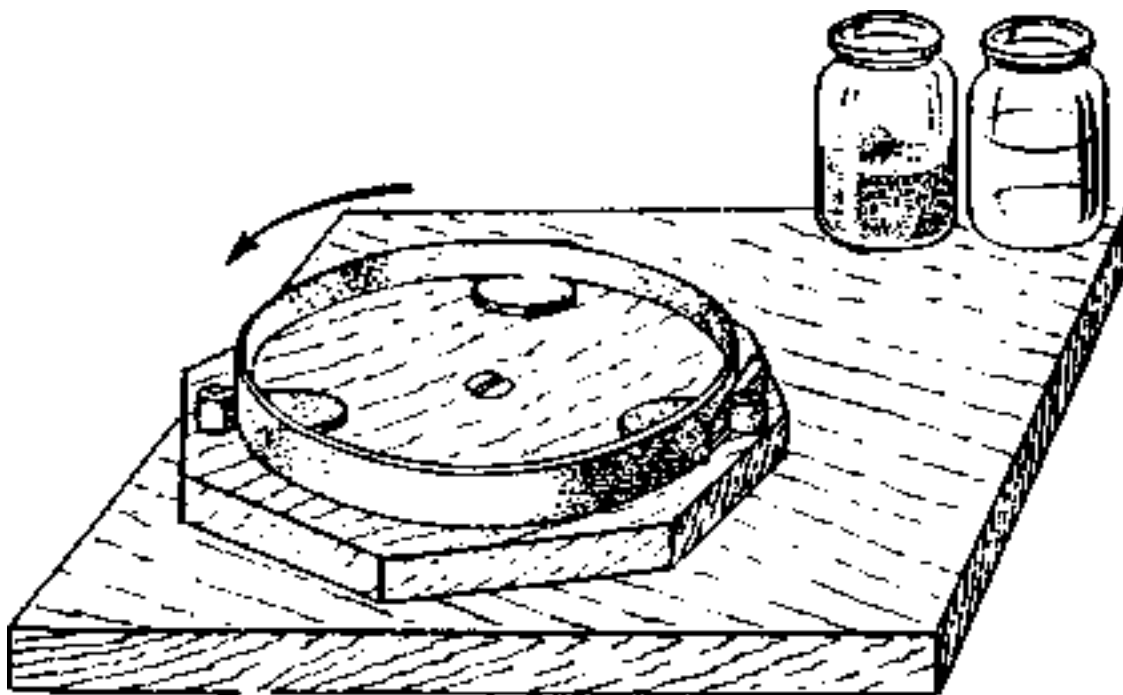
– Перед вами, млодзян, простейший станок для шлифовки линз. Круглая доска, которую вы видите перед собой, вращается вокруг своей оси. Я прибил ее к столу одним гвоздем и немного расшатал. Вращать нужно с усилием, и это есть добже! Спешить в нашем деле некуда. Видишь три деревянные пробочки? Заготовку мы кладем внутрь, они будут удерживать зеркало во время шлифовки.

Кива Сергеевич взял вырезанный Мишей кусок стекла и положил его между пробочками.

– Болтается немного, да?

Миша потрогал заготовку. Она действительно слегка ерзала между пробочками.

– Не страшно!



Кива Сергеевич достал из кармана маленький деревянный клинышек и осторожно вогнал его между стеклом и одной из пробочек.

– Уже не болтается! Теперь смотри внимательно.

Он снял со стола бутылочку с бурым порошком.

– Это грубый абразив, для первой обдирки. Сыплем примерно половину чайной ложечки, вот так, затем наливаем воды. Воды, воды наливаем! – он посмотрел на Мишу.

Миша несколько секунд не мог сообразить, чего хочет от него учитель, а потом быстро подскочил к крану, наполнил водой стакан и поднес его Киве Сергеевичу.

– Сам, сам наливай. Чуть-чуть, только смочи. Вот так, хорошо.

Взяв в правую руку шлифовальник, он занес его над стеклом и посмотрел на Мишу. Воцарилась пауза, подобная той, что наступает в концертном зале, когда пианист поднимает руки над клавишами и, бросая взгляд на дирижера, ожидает едва заметного взмаха палочкой.

Придерживая левой рукой доску, Кива Сергеевич опустил шлифовальник на заготовку и провел первый штрих. Шлифовальник описал идеальную окружность, его край, выходявший за пределы заготовки, оставался на одном и том же уровне, точно приклеенный. Движение заняло примерно секунду. Абразив громко хрустел, но этот хруст казался Мише ангельской музыкой. Сделав еще два штриха, Кива Сергеевич повернул доску градусов на тридцать и три раза повторил движение.

– Зрозумел? – спросил он, передавая Мише шлифовальник. – Как в вальсе: раз, два, три, раз, два, три. А теперь попробуй сам.

Миша взял кусок железной трубы с трепетом и почтением. Еще бы, впервые жизни изготовление линз из таинства, доступного лишь посвященным, начало превращаться в конкретное умение. Наверное, нечто похожее ощущал принимаемый в масонскую ложу, когда ему в руки вкладывали мастерок.

Он поставил шлифовальник на заготовку и повторил жест Кивы Сергеевича. Получилось неплохо, круг вышел почти идеальным. Правда, хрустело куда слабее, чем под рукой учителя.

– Слабо жмешь, – Кива Сергеевич положил свою ладонь на Мишину и надавил. – Вот так, с таким усилием, понял?

Миша кивнул и сделал штрих. Повернул круг на 30 градусов и еще три штриха. Еще тридцать и еще три. Тридцать и три, тридцать и три!

Громкий хруст сменился легким шипением.

– Подбавь абразива, – сказал Кива Сергеевич, внимательно наблюдая за движениями Мишиных рук. – Теперь воды можешь не жалеть. Лей щедро, не скупясь. А вообще, получается ловко. Ты ведь впервые держишь в руках шлифовальник?

– Впервые.

– Съетне! Руки у тебя к нашему делу поставлены. Астроном, я не ошибся, ты астроном. Давай, жми.

Польщенный похвалой, Миша продолжил работу. Спустя минут двадцать, когда его лоб усеяли блестящие капельки пота, Кива Сергеевич, нарушил молчание.

– Возьми тряпку и вытри изношенный абразив. Потом вытащи заготовку из станка, вымой и дай мне.

Жест, которым Миша передавал Киве Сергеевичу кусок стекла, напоминал движение молодой матери, с гордостью показывающей родителям своего первенца.

Кива Сергеевич снял со стены железную линейку и приложил к матовой поверхности зеркала.

– Видишь просвет?

Миша пригляделся. Концы линейки опирались на край заготовки, а центр заметно «провис».

– Вижу.

– Это означает, что поверхность заготовки принимает вогнутую форму. Чем больше стрелка кривизны, тем короче фокусное расстояние. А чем короче фокусное расстояние, – Кива Сергеевич поднял вверх палец правой руки. Но договорить он не успел.

– Тем сильнее увеличение! – выпалил Миша.

– Досконале! Точнее не скажешь.

Кива Сергеевич вернул Мише заготовку.

– Клади ее на место и продолжай.

И Миша принялся за работу. Несколько минут Кива Сергеевич смотрел на него, а потом произнес.

– Ну что ж, пора тебя вводить в курс дела. Ты уже читал работы Чижевского?

Миша остановился и перевел дух.

– А кто это такой?

– Ты три, три. И слухай. Слухай внимательно.

Луч света пробегает расстояние от Земли до Солнца за восемь минут. В масштабах космоса это считается рядом. Все живущее на земле пронизано солнечной радиацией. Ее уровень все время изменяется, и эти прыжки влияют на человека, животных, растения, словом – на все.

Учень Циолковского – Чижевский, решил выяснить, что влияет на солнечную активность.

Кива Сергеевич с подозрением посмотрел на Мишу.

– Надеюсь, про Циолковского ты слышал?

Миша молча кивнул. Поначалу постоянные сомнения учителя его возмущали, но когда он понял, что это просто риторический прием, обида исчезла. На вопросы, призванные выявить его невежество Миша отвечал смиренным кивком головы. Кива Сергеевич сразу успокаивался и продолжал монолог.

– Чижевский стал наблюдать за солнцем. Во всякую погоду, ровно в девять утра, он выносил телескоп на двор и зарисовывал солнечные пятна. Так ведет себя настоящий астроном. Ровно в девять, что бы ни произошло. Ровно в девять!

Кива Сергеевич поперхнулся от восторга и несколько секунд судорожно двигал кадыком.

– Потом он стал заказывать книги о солнце из магазинов Москвы и Варшавы. Потом разослал запросы о солнечных книгах в библиотеки разных городов. Оказалось, что наблюдения за солнечными пятнами ведутся уже сотни лет. Чижевский сравнил эту статистику со своими рисунками. И вышло, что все земные события, если их представить в виде графика, точно соответствуют солнечной активности. Эпидемии сенной лихорадки, войны, количество самоубийств, женские менструальные циклы – пики и впадины статистических кривых аккуратно вписываются в пики и впадины пятнообразования.

Пятна на Солнце – огромные, тысячекилометровые изменения кипящей поверхности светила, меняют на его радиацию, а радиация меняет нас. А что влияет на механизм образования пятен?

Кива Сергеевич вопросительно посмотрел на Мишу.

– Не знаю, – немедленно признался ученик, продолжая водить шлифовальником по заготовке.

– О! – Кива Сергеевич снова поднял вверх указательный палец. – Про законы гравитации слышал? Так вот, в зависимости от расположения планет солнечной системы, их гравитационные поля складываются определенным образом, и результирующая сила влияет на пятна. В меньшей мере на пятна действует все мироздание: звезды, кометы, галактики. Древние, над астрологией которых принято сегодня насмехаться, были не так уж далеки от научного понимания небесной механики.

Он отодвинул Мишины руки от стола и внимательно осмотрел заготовку.

– Вытри изношенный абразив, подсыпь новый и продолжай свой скорбный труд.

– Почему скорбный? – поинтересовался Миша, выполняя указания Кивы Сергеевича.

– Жил когда-то на земле мудрый человек, и звали его Коэлет. «Умножающий знание умножает печаль» – говорил этот мудрый человек. А тебе, мой мальчик, предстоит узнать очень многое. И поможет тебе тот самый кусок стекла, над которым ты сейчас потеешь.

Он вернулся на свой табурет и внимательно посмотрел на Мишу.

– Солнце распоряжается нашими телами, а душой управляет Луна. Она влияет на воду, создавая приливы и отливы, а в теле человеческом – на кровь. Помнишь, как сказано в Священном Писании: «душа она в крови».

Миша отрицательно покачал головой.

– Ах, да, – спохватился Кива Сергеевич. – Откуда тебе помнить! Внуки Ленина, дети Сталина... У вас вместо Писания «Краткий курс истории партии» преподавали. Ну, так принимай на веру, то, что знающие люди говорят, а иначе ничему не научишься.

И вообще, главная проблема вашего поколения – вбитое с детства пристрастие к краткому курсу. Во всем, в любой области. Но со мной такое не пройдет, у меня ты будешь тереть эту заготовку, пока не получится идеальное зеркало.

– Буду, – покорно согласился Миша, продолжая водить шлифовальником. Лирические отступления Кивы Сергеевича он пропускал мимо ушей, как опытный пловец, подныривая под волну, пропускает над головой особенно свирепый вал.

– Так сложилось, – продолжал Кива Сергеевич, – а почему, я не могу объяснить, что человечество делится на два психологических типа: лунников и солнцевиков. Психика первых более подвержена влиянию Луны, а вторых – солнца. Лунники, как правило, люди духа: священники, поэты, музыканты, а солнцевики – бизнесмены, политики, солдаты. Я бы сказал, что лунники – душа человечества, а солнцевики – его плоть.

– Это Чижевский открыл? – осведомился Миша.

– Нет, про типы душ писал еще Авиценна в трактате «О небесных телах», Аль Бируни в книге «Тени», Роджер Бэкон в *Doctor Mirabilis* – «Дивном докторе». Ну, и самое главное,

есть нигде не записанные знания, передаваемые учителем ученику. От посвященного посвящаемому.

Кива Сергеевич встал с табуретки, подошел к Мише и положил свою ладонь прямо на его макушку. От ладони исходило тепло и «аромат звезд».

– Запомни: то, о чем мы с тобой говорим, должно остаться между нами. Ты не можешь рассказывать об этом ни отцу, ни матери, ни школьным приятелям. Когда-нибудь, когда ты вырастешь и станешь астрономом, у тебя появится учень. Настоящий, которого ты отличишь среди десятков других. Только ему ты имеешь право передать то, что я рассказываю тебе.

Польщенный Миша залился румянцем смущения. Кива Сергеевич убрал ладонь и вернулся на прежнее место.

– В чистом виде лунники и солнцевики почти не встречаются. В каждом человеке перемешаны качества и тех, и других. Но если все-таки, разделение произошло, эти люди ненавидят друг друга.

– Как кошки и собаки? – не удержался Миша.

– Хуже. Гораздо хуже. Борьба между ними – подлинный катализатор прогресса. Я бы сказал, что вся история человечества, есть не что иное, как история их скрытой войны.

– Почему скрытой.

– Потому, что работающий механизм всегда скрыт от посторонних глаз. Как в часах. Иначе любой дурак полезет и начнет ковыряться. И что тогда станет с часами?

– Перестанут работать.

– Совершенно правильный ответ. Ну-ка, покажи линзу.

Миша отложил шлифовальник, стер абразив, вытащил линзу из станочка и, тщательно омыв под краном, положил на стол перед Кивой Сергеевичем. Он долго крутил ее перед глазами, рассматривая в анфас и профиль, то поднося совсем близко к лицу, а то отодвигая на расстояние вытянутой руки.

– План пошел на радиус, – наконец произнес он довольным тоном. – Поверхность зеркала начала приобретать кривизну. Чтобы увеличить фокусное расстояние, давай поменяем местами зеркало и шлифовальник. Кольцо закрепим в станочке, а вращать будем линзу. Но тут нужны особые осторожность и тщательность. Справишься?

– Справлюсь! – уверенно ответил Миша.

Письмо четвертое

Дорогие мои!

Как обычно, я задремал в своей каморке, и во сне со мной произошло очередное превращение. На сей раз я обратился в голубя. Молодого, веселого голубя, переполненного радостной энергией, заставлявшей трепетать крылья и носиться без всякой цели с одного места на другое.

Наша стая жила в городе. Между каменных стен огромных домов расположилась небольшая лужайка, густо обсаженная деревьями. На их ветках мы спали, а за едой отправлялись к домам. Перед ними всегда можно было отыскать крошки или другую пищу. Голубю немного нужно, мы экономные и правильно устроенные птицы: каждая крупница перерабатывается дотла, поэтому чувство голода нам почти неведомо.

Дел у нас никаких не было. Особенно у молодежи. Целыми днями мы перелетали с веток на крыши домов, опускались вниз, высматривая добычу, или расхаживали по траве, внимательно глядя под ноги, в надежде отыскать что-нибудь съедобное. Просто так, ради веселья и озорства.

Старших занимала проблема размножения. О, это была главная тема их разговоров, важного покачивания головами, чинного уханья и степенного расхаживания по краю крыши.

Нас, молодых, она тоже очень занимала, по существу, все наше существование было ни чем иным, как подготовкой к размножению. Однако до поры до времени молодежь ни во что не посвящали, оставалось только ждать и с замиранием сердца представлять себе, как, где и с кем оно произойдет.

Будущие партнеры по размножению – голубки, держались особняком, а если кто-нибудь из нас по неосторожности, или намеренно оказывался рядом, тотчас из-за их спин выходила старая важная голубица и безжалостно клевала нарушителя.

Основным развлечением служило метание помета. Спустя несколько часов после еды, когда внутреннее давление в зоне хвоста усиливалось и мешало летать, мы занимали места на карнизах, подоконниках или на проводах и по очереди опорожнялись, стараясь угодить на заранее оговоренный предмет. Чаще всего им оказывался автомобиль или сохнувшее на веревках белье. К чисто соревновательному интересу добавлялось удовольствие от поглощения человеческих эмоций, ведь мы, голуби, улавливаем волны, исходящие от людей, и наслаждаемся их гневом и раздражением.

Я не отличался ни особой меткостью в метании, ни изворотливостью при выхватывании крошек, ни скоростью полета. Я был обыкновенным сизым голубем, таким, как большинство в нашей стае. Но мне очень, очень хотелось чем-нибудь выделиться, стать отличным от других – наверное, это говорило не совсем забытое человеческое прошлое. Однако все попытки обратить на себя внимание оставались незамеченными: видимо, я делал их недостаточно ловко.

После одной из них, чуть не плача – голуби не плачут, но у меня нет других слов, чтобы передать свое тогдашнее состояние, я оставил товарищей, улетел на дальний край площадки и забился между ветвей приземистого дерева. К нему голуби никогда не летали. Ходили разные слухи: одни утверждали, будто сразу за его ветвями открывается иное пространство, в котором невозможен полет, и птица, рискнувшая пересечь невидимую границу, камнем падает вниз, расшибаясь об острые камни. Другие рассказывали о гигантских котах, одним прыжком настигающих незадачливого голубя. Третьи, многозначительно покачивая головами, говорили, будто за пределами нашей площадки нет еды, совсем, просто никакой и нигде, и поэтому истинная мудрость жизни состоит в том, чтобы приспособиться к тому месту, где ты родился, а не пускаться в сомнительные путешествия, как правило, заканчивающиеся голодной смертью.

Впрочем, эти рассказы меня мало интересовали. Я не собирался никуда улетать, я вообще больше ничего не собирался делать. Жизнь казалось пустой и лишней забавой. Для чего нужны муки ожидания, трудности соперничества, горечь поражения? Не лучше ли отыскать ближайшую кошку, приземлиться рядом и сделать вид, будто ее не замечаешь? Недолго, несколько минут. И все кончится.

– Не кончится, – раздался чей-то голос.

Я повернулся, и увидел на соседней ветке голубя. Он был довольно стар, перья на голове и крыльях уже выцвели, и сидел он так, как сидят старики: поджав лапки и упираясь хвостом. Неужели я настолько потерял контроль, что говорил вслух, и старик услышал мои горестные причитания?!

– Нет, – сказал старик, – ты молчал.

– Но откуда вы знаете, о чем я думаю?

– Я читаю твои мысли, – ответил старик.

С такими голубями мне еще не приходилось встречаться. Несколько раз я попадал на совет старейшин, но даже там, среди самых мудрых и уважаемых голубей не было ни одного, умеющего читать мысли.

– Истинная мудрость не нуждается в словах, – снова раздался голос. Я внимательно смотрел на старика и видел, что его большой красноватый клюв оставался закрытым. Значит, голос звучал во мне, внутри моей головы.

– Ты прав, – старик сменил позу, слегка перевалившись на другую ногу. – Ты слышишь мои мысли, а это означает, что ты не такой, как все. Небесный Голубь одарил тебя чудесным, удивительным даром.

– Но почему я не слышу мыслей других голубей, а только ваши? – спросил я, приходя в полнейшее замешательство. – И кто такой Небесный Голубь?

– Невозможно услышать того, чего нет, – ответил старик. – Птицы твоей стаи пусты, как яйцо, из которого вылупился птенец. Их цель – простое продолжение рода. Они существуют лишь для того, чтобы иногда рождались такие, как ты, земное воплощение Небесного Голубя. Посмотри вверх.

Я послушно поднял голову.

– Что ты видишь?

– Ничего, – честно сказал я.

– Значит, там ничего нет?

– Не знаю. Наверное, есть, только мне не видно.

– Молодец! Вот ты и выучил первое правило. Не все, что не видно, не существует. И наоборот. Не все, что видно, существует.

– Как так?

– Очень просто. Небо над нами бездонно. В нем летают большие птицы: орлы, коршуны, беркуты, над ними драконы, еще выше, посланники Небесного Голубя, а над всеми – Владыка мира, его создатель и судья. Сейчас мы не видим ни орлов, ни коршунов, но иногда они спускаются на наш уровень, и тогда мнимая пустота оказывается весьма реальной. И горе тому, кто не уберется от беркута!

– Горе! – повторил я. Мне доводилось слышать рассказы старших о хищных птицах, внезапно падающих с высоты и уносящих в своих когтях беззащитного голубя. Правда, в последний раз такое произошло много поколений назад, но память о страшных когтях сохранилась до сих пор.

– Птицы твоей стаи, – продолжил старик, – физически существуют, но на самом деле их нет. Умрут они сегодня или завтра, или вообще не появятся на свет, кто заметит? Они – сырой материал, безликое звено в цепочке. У звена нет личности, никто не запомнит его лица, а поэтому в духовном смысле оно не существует.

Им, копошащимся в прахе земной жизни, никогда не увидеть ни посланников, ни, тем более, самого Голубя. Кругозор их ограничен, а мозг неразвит. Поэтому им кажется, будто там, – старик поднял голову и ткнул в небо черным подклювьем, – там ничего нет, кроме хищных птиц. Что ж, они правы. Для них там действительно никого нет. Но есть души, предназначенные для высокой цели, им дано многое и спрос с них особый. Поэтому для тебя, избранного, жизнь не закончится в зубах бродячей кошки.

– Почему? – спросил я.

– Неужели ты думаешь, что такое богатство, как избранный, может бесследно исчезнуть? Сколько поколений простых голубей передавали друг другу цепочку жизни, накапливали ценные качества, хранили, концентрировали их с одной единственной целью – твоего появления на свет! И вот ты родился, обрел себя, встретил Учителя. Перед тобой длинный путь знания, на котором ты поймешь многое, а выучишься еще большему. И все это пропадет с твоей смертью?

– А куда же оно денется?

Старик внимательно посмотрел на меня, словно оценивая, стоит ли продолжать. От его взгляда мои перья непроизвольно вздыбились, а крылья сами собой развернулись. С большим трудом мне удалось сдержать готовое к бегству тело.

– Избранный, прошедший до конца путь знания, присоединяется к Небесному Голубю, становясь его частью. Но не безликой, безымянной частью, а членом совета.

– Совета старейшин?

– Вроде того, – старик усмехнулся. – Только решают на этом совете куда более важные вещи, чем на совете твоей стаи.

– Какие? – я не удержался от вопроса.

– Судьбы мира, – медленно произнес старик. – Кому жить, а кому умирать, кому на исходе дней, а кому безвременно, кому смерть от котов, а кому от силков, кому от голода, а кому от жажды, кому покой, а кому скитаться, кому безмятежность, а кому тревога, кому благоденствие, а кому мучение, кто возвысится, а кто будет унижен. Время весны и время осени, начало ураганов и конец урожая, бури на море, ветры в пустыне, благодатные росы и ранние заморозки. Все это в руках Небесного Голубя и его совета. И нет высшей чести и высшего блаженства, чем стать одним из старейшин, по слову которых вершится мир.

Так началась моя учеба. Первые несколько месяцев я отрабатывал прочность удержания связи.

– Избранный слышит глас Посланников Небесного Голубя, – объяснял старик. – И Голос ведет его по жизни, указывая, что делать. В общем-то, главная задача у всех избранных одна, но раскрыть ее тебе пока еще рано. Сначала ты должен научиться хорошо слышать: везде, при любых обстоятельствах. Даже когда спишь, твое внутреннее ухо должно оставаться настороже.

Связь действует одинаково: когда ты говоришь со мной, и когда к тебе обращаются Посланники. Поэтому сперва мы поработаем над удержанием связи между нами. Если этот канал начнет работать достаточно хорошо – к тебе обратятся. Или не обратятся, все будет зависеть только от твоих стараний.

И мы принялись тренироваться. Быстро выяснилось, что голос старика я улавливаю на расстоянии четырех-пяти метров, меня же слышно только вплотную. Старик показал упражнения, способствующие развитию слуха, и я принялся выполнять их с утра до глубокой ночи. Результаты не заставили себя ждать: уже через неделю я прекрасно слышал голос старика, отлетая метров на тридцать. Препятствия не играли никакой роли, между нами могло оказаться дерево или дом, слышимость оставалась на том же уровне, влияло на нее только расстояние.

День, когда я поймал голос на другом конце площадки и сумел ответить, старик назвал днем моего истинного рождения. Сразу после этого день он раскрыл мне задачу избранных, и вся моя прошлая жизнь предстала в совсем другом свете. Особенно нелепыми и смешными виделось теперь неуклюжее барахтанье обыкновенных голубей, их жалкое, животное существование.

– Мы наносим метку, – сказал он, внимательно глядя на меня жемчужными, с палевым отливом, глазами. – А Небесный Голубь посылает благословение. Голос подсказывает нам, кого выделить из толпы, и от нашей проворности и умения зависит правильное существование вселенной. Мир построен на противоположностях: благословение и проклятие, изобилие и голод, здоровье и болезни. Посланники могут менять судьбу, они всемогущи, но только в соответствии с меткой. Без метки их могущество ничего не стоит.

Есть метки, несущие несчастья, а есть – приносящие удачу. Мы, голуби, избраны для радости. Наша отметина меняет судьбу к лучшему. Поэтому избранные должны быть проворны и ловки, ведь стоит запоздать, Посланники не успеют вбросить благословение и мир может рухнуть под напором горя и слез.

– А как мы метим? – спросил я
Старик усмехнулся.

– Да вот так.

Он взмыл с ветки и устремился в проход между домами. Из дверей вышла женщина и двинулась к автомобилю. Старик пролетел над ее головой, низко-низко, едва не задев белую шляпку кончиками поджатых, обильно оперенных лапок, и на шляпке тут же расплылось желтое пятно. Женщина остановилась, сняла шляпу, и горестно взмахнула руками.

Старик вернулся на прежнее место, и устало оперся на хвост.

– Не те, не те годы, – сказал он. – Давеча я с пяти метров запросто попадал, а теперь уже надо чуть не на голову садиться.

– Вы сказали, что наши метки приносят в мир радость, – спросил я. – Но ведь женщина заплакала?

– Мы живем в мире лжи, – ответил старик. – Все в нем устроено наоборот: злодеи торжествуют, а праведники страдают и бедствуют. Все перемешалось: ложь похожа на правду, а правда выглядит, как ложь. Тот, кто плывет в нем без верного Голоса, обречен на сумятицу и напрасные горести.

– А зачем так устроен мир, Учитель?

Старик довольно покивал головой.

– Ты начинаешь задавать хорошие вопросы. Значит, дело пойдет на лад.

Мне, честно говоря, казалось, что дело давно пошло на лад, а мои вопросы – не более чем любопытство, имеющее весьма далекое отношение к умению держать связь. Замечание старика показалось обидным: нежели, после стольких усилий, упражнений и такой самоотдачи дело всего только пойдет!

– Если бы за правильные поступки сразу бы выпала награда, а за несправедливые – наказание, то все сущее на Земле давно бы стало праведным.

– И хорошо! – воскликнул я. – И замечательно, почему нет!?

– Потому, что такому выбору грош цена. Небесный Голубь хочет, чтобы мы сами, свободно пришли к пониманию правды, научились отличать добро ото лжи.

Он еще долго разглагольствовал, но я только притворялся, будто внимательно слушаю, а сам потихоньку дремал с открытыми глазами. Тренировки и упражнения выматывали меня до последнего перышка, стоило только присесть на ветку, как сон тут же начинал опутывать меня своими силками.

На следующий день мы начали отрабатывать точность проставления метки. Старик оказался большим мастером, он попадал с крыши дома прямо в сумку с продуктами, забытую рядом с автомобилем, метил в полете, в падении, с переворота. Такому пилотажу нужно было учиться и учиться. И я добросовестно осваивал все премудрости и секреты. Но Голос не звал, нет, не звал, мои ухищрения не заслуживали Высочайшего одобрения. Однако я не сетовал, даже без Голоса моя доля была куда лучше участи обыкновенного голубя.

Старик очень много ел. Добывать пищу ему не приходилось, каждый день посланцы совета старейшин приносили крошки, зерна и другую соблазнительную снедь. Он уписывал все без остатка, и никогда, никогда не делился со мной.

– Избранный должен быть всегда готов выполнить миссию, – объяснил он, заметив голодный блеск моих глаз. – Представь себе, что Голос призвал тебя ставить метку. А ты не готов, пуст, опорожнен. Значит, кто-то, ожидающий своего счастья, молящийся, плачущий по ночам, останется обделенным.

Пойми, справедливое устройство мира держится на правильной работе моего желудка. Я никогда не был обжорой, всегда довольствовался малым, и сейчас, если Голос освободит меня от несения миссии, я с наслаждением перейду на обыкновенный рацион. Но что делать, что делать!? – он сокрушенно похлопал крыльями.

Бедняга, как он страдал! А мне приходилось после многих часов утомительных упражнений разыскивать по всей территории жалкие крохи, не замеченные другими голубями. Иногда перед сном мои внутренности бурчали так громко, что их жалобный стон разбудил бы мертвого!

Но старик не слышал. Основательно поужинав, он устраивался на ветке и погружался в глубокий сон. Меня же начинали терзать сомнения. А существует ли в действительности избранность, или это всего лишь уловка хитрого старика? Ведь я знаю о ней только с его слов! Остальные голуби ведут себя точно так же, как и мы; едят и метят, но без мучительных упражнений, без постоянного прислушивания. К тому же они размножаются, выводят потомство, живут семьями, общаются с друзьями. А я? Один, без подруги, голодный, сиротливо сижу на ветке и размышляю о каком-то Голосе, Посланниках, Небесном Голубе? Да есть ли он вообще, этот Голубь!?

Я засыпал, горько сокрушаясь о своей злосчастной судьбе и не один раз давая себе слово утром же вернуться в стаю, но наступало утро, старик просыпался, поднимал меня на упражнения, и день снова катился по заведенному кругу.

Надо сказать, что в искусстве проставления меток я достиг большого совершенства и, не скрою, не скрою, уже кое в чем превосходил самого старика. Еще бы, ведь мышцы мои были моложе, глаза приметливее, а чувства более свежи и остры.

Однажды, отрабатывая замысловатую фигуру пилотажа, я пронесся над молодняком нашей стаи, моими бывшими друзьями. Они сбились в кучу и что-то ожесточено клевали, отталкивая друг друга. За долю секунды я понял, что их добычей стал аппетитный кусочек булочки, выброшенный кем-то из окна. Не знаю, что меня толкнуло, но я резко изменил направление полета, на секунду словно остановившись в воздухе, затем спланировал прямо на клубящуюся толпу и резким движением выбил булочку изо рта другого голубя. Она упала к моим лапкам, и я тут же подхватил ее клювом, готовясь к серьезной потасовке. К моему величайшему удивлению, драки не последовало, голуби молча расступились, образовав вокруг меня пустое пространство.

– Ученик избранного, – послышались голоса, – ученик избранного.

Я взмахнул крыльями и полетел на свое дерево. Мой статус изменился: из серенького неумехи я стал единственным, уникальным, внушающим уважение и страх. Самые отъявленные драчуны нашей стаи почтительно расступились предо мной.

С того момента вечерние сомнения ушли прочь, и ночи стали проходить спокойно, принося свежесть и силу. Голос меня не посещал, но я вовсе не был уверен, что старик его слышал. Впрочем, какая разница? Существует заведенный порядок жизни и в нем есть место для избранных. А коль скоро судьба привела меня на это место, я буду выполнять все правила и пользоваться всеми положенными благами.

Я принялся изучать повадки старика и тщательно их копировать, понимая, что в будущем займу его пост, и посланцы совета начнут складывать ежедневные подношения перед моими лапками. Он был неплохим голубем и учил меня основательно и терпеливо. Раздражали в нем бесконечные нравоучения, пересыпанные многословными разглагольствованиями о смысле жизни, правильном устройстве мира, высокой миссии избранных. Впрочем, кто из птиц лишен недостатков?

Конец его был ужасен и во многом изменил мое отношение к действительности. Если до смерти старика во мне еще бродили смутные надежды на существование Небесного Голубя, то после нее я окончательно утвердился в реалистическом понимании нашего мира.

Однажды утром старик выбрал для тренировки наружную стену большого дома, стоящего поодаль от остальных зданий. Его построили недавно, и для сушки одежды люди устроили в нем глубокую выемку, защищенную снаружи полосами светлого металла. Видимо они предполагали, будто эти полосы помешают голубям проникать внутрь и

метить белье. Наоборот! Среди молодняка стало считаться верхом удали протиснуться между полосами, усесться на оконную раму, быстро пометить и выскочить наружу.

Мне уже не нужно было садиться на раму, я влетал, и, застыв в воздухе на несколько секунд, выскакивал обратно, оставляя на белье громадную жирную метку. Людям, живущим в доме, не нравились наши упражнения. Они заботились о своем белье больше, чем о правильном управлении миром, и поэтому в то утро, подлетая к выемке, я заметил натянутую между полосами металла тонкую сеть.

Сеть была сделана из прозрачного материала, я увидел ее в самую последнюю секунду и еле успел вывернуться, чтобы не попасть в ячейки. Однако люди, хоть и предприимчивы, но непоследовательны, и часто не доводят дело до конца. Полетав возле выемки, я быстро обнаружил дыру, пропущенную то ли по безалаберности, то ли по недосмотру. Юркнув в нее, я с большим удовольствием отметился и выскочил наружу.

В эту минуту подлетел старик. Он немного запоздал, заканчивая обильный завтрак. Прежде, чем отправить меня выполнять упражнение, он прочитал мне целую лекцию о пользе бдительности, о том, что идущий путями Небесного Голубя должен постоянно быть начеку в ожидании призыва и неустанно тренировать тело и чувства.

– Ты уже метил? – спросил старик, указывая клювом на белье в глубине выемки.

– Нет, – соврал я.

Не знаю, что двигало мною, желание ученика еще раз понаблюдать за работой Учителя, или мелочная месть пустого желудка, но я соврал, да, я соврал.

– Тогда смотри, – сказал старик, развернулся и понесся к полосам. Чтобы пролететь на такой скорости между их острыми краями требовалось незаурядное умение. Старик им обладал и, несомненно, выполнил бы упражнение с блеском, но его подвели не крылья, а ослабевшие глаза. Он не заметил сети, а я промолчал, и мой мудрый учитель со всего маху врезался в почти невидимую преграду.

Первые несколько минут он пытался освободиться и отчаянно бился всем телом, но от этих попыток сеть запутывалась еще больше, оборачиваясь вокруг лапок. Полосы гудели под ударами крыльев, и этот звон до сих пор возникает в моих в ушах, стоит только слегка напрячь память.

Вскоре его лапки окружал плотный ком перепутавшихся ячеек, вырваться из которых было невозможно. Он понял безнадежность своих попыток и замер, повиснув вниз головой.

Я несколько раз облетел его, выискивая хоть какую-нибудь возможность помочь. Бесполезно. Мой учитель был обречен.

Умирал он несколько дней. Непонятно, откуда взялась в стариковском теле такая живучесть!? Его голова то бессильно свешивалась, то вновь приподнималась, и оранжевые от прилива крови глаза судорожно металась в безуспешных поисках спасения. Иногда, в порывах отчаяния, он неистово трепыхался и сбитые, истерзанные крылья колотили по железу, вновь исторгая протяжный звон.

О, этот звон! Он будил меня по ночам, проникая в самое сердце. Но что, что я мог поделать?!

Страшнее всего были разговоры. Первые несколько часов он молчал, на всякие лады пытаясь освободиться. Я тоже молчал, не зная, что сказать. Когда старик обвис, и замер в полном изнеможении, я услышал его голос.

– Небесный Голубь посылает мне испытание, – сказал старик. – Вся моя дальнейшая жизнь зависит от того, как я пройду через него.

Бедняга! Он еще надеялся на спасение....

– А в чем состоит испытание? – спросил я, пытаясь хоть немного отвлечь его внимание.

– Конечно, не в этой сети, – презрительно фыркнул старик, – и даже не в дальнейшей жизни моего тела – старой, усталой оболочки. Настоящее испытание это проверка духа, проверка того, что ты наработал за все отпущенные тебе годы. Если я впаду в отчаяние, наказание окажется великим. Но если выдержу и выйду из этой западни укрепленным, с обновленной верой – награда будет безмерна.

Я не стал возражать. Зачем? К чему волновать умирающего? Он поговорил в таком духе еще минут двадцать и замолк. Замолчал на много часов. Когда я вновь услышал его голос, старик рассуждал уже совсем иначе.

– Наверное, я в чем-то провинился, – произнес он дрожащим голосом. Иначе за что мне ниспослана столь мучительная смерть? Я всегда думал, будто веду безупречный образ жизни. Но кто не ошибается! Скажи, мой ученик, возможно, ты заметил огрехи в моем поведении, проступки, упущения, и молчал, боясь обидеть учителя. Понимаю тебя, хорошо понимаю. ... Но время обид прошло, поэтому сейчас ты обязан рассказать все, что обо мне думаешь. Я хочу раскаяться в неправильных поступках, прежде чем придет мой последний час.

Я не стал его огорчать. Честно говоря, кроме некоторого самодовольства и нежелания делиться со мной пищей, его поведение было действительно безупречным.

В последний раз старик заговорил к исходу вторых суток. Он уже давно перестал бить крыльями, тело безжизненно висало, подобно мокрому белью, и только голова иногда приподнималась на несколько секунд.

– Моя смерть – это жертва, – еле слышно прохрипел он. – Жертва за всех голубей, за всех котов, за всех людей, за весь мир. Я знал, что скоро умру. И ты, мой преемник, знай и ты, что минута, когда к тебе придет ученик, настоящий ученик, будет началом твоего конца. Ты передашь ему то, что получил от меня, добавишь, накопленное тобой и будешь ждать своего часа. Солнце садится, и встает солнце, но в мире не может быть двух солнц. Я ухожу из этого мира счастливым и свободным. Будьте и вы счастливы.

Он замолчал, уронил голову. По телу пробежала последняя, предсмертная судорога. Перья еще вздрагивали, а душа уже отлетела, закружилась, затрепетала, устремляясь к Небесному Голубю.

Так я стал избранным. С тех пор прошли годы, перья мои выцвели, а знания умножились. В длинные, длинные дни, свободные от забот о пропитании, я без конца размышлял, припоминая слова Учителя, даже те, что казались мне напрасной болтовней. К сожалению, многое я пропустил мимо ушей, и многое позабыл, иначе бы мудрость моя возросла еще больше.

Мои сверстники давно ушли, кто от зубов или когтей, кто под тяжестью жизни. Размножение отнимает много сил, а заботы о пропитании семьи угнетают душу. Я пережил всех, я пережил даже внуков своих товарищей по играм на площадке между домами. У долгой жизни есть свои преимущества, и главное из них – возможность многократно увидеть голубиную судьбу, от первого писка вылупившегося птенца до предсмертного трепетания крыльев. Ничто так не умудряет, как повторение.

Но Голос я так и не услышал. Винаваты ли в том мои духовные качества, или Небесный Голубь просто выдумка, созданная для облегчения тягот птичьего существования – кто знает. Я перестал искать ответ, и раз жизнь возложила на меня определенную ношу, старался нести ее самым достойным образом.

Так же, как мой Учитель, я рассказывал новым старейшинам о Небесном Голубе, так же, как он я внезапно наклонял голову, словно прислушиваясь к лишь одному мне слышному зову, а затем срывался с места и метил, метил, метил тех, кого выбирал. Выбирал сам, повинуюсь смутному теплу, шевелящемуся в горле.

И вот, настал день, когда на мою ветку опустился совсем юный голубь и со слезами в голосе принялся жаловаться на судьбу. Он не видел меня, он думал, будто вокруг никого нет, он плакал, не замечая, что его крик и стенания слышны только мне, мне одному, умеющему слышать непроницаемое.

Мой час пришел, но я был не готов, я хотел жить еще и еще, хотел летать, метить достойных, клевать свою пищу, спать на ветке, опираясь на хвост, рассказывать старейшинам об избранных, просто жить, я очень, очень хотел жить – и проснулся.

Я устал, мои дорогие, последний сон измотал меня, пальцы с трудом держащие перо, скрючились, подобно птичьей лапке. Сны все больше и больше напоминают явь, многие часы уходят на то, чтобы вырваться из-под их власти. Сейчас я закончу письмо, брошу его в щель под головой дракона и просто посижу. Просто так, размышляя о том, или о другом. Главное – постараться не заснуть, как можно дольше не заснуть.

*До свидания, мои дорогие,
любящий вас – сын.*

Глава пятая ТОНКАЯ ШЛИФОВКА

Брат Полины, Ефрем, несколько раз в году отправлял курганским родственникам посылку. У деда его жены, Оксаны, была заимка прямо на берегу таежного озера. На заимке разводили пчел и коптили рыбу. Ефрем плотно набивал фанерный ящик банками с медом и копчеными тушками, шел на железнодорожный вокзал и за три рубля оставлял его у проводника. Через восемнадцать часов Макс Михайлович забирал посылку, привозил домой и дивный запах «копчушки» еще долго наполнял домик Додсонов.

Мед выдерживал дольше всего. Ароматный, таежный мед, тягучая память о коротком сибирском лете. Его ели с чаем, смакуя по ложечке, дочиста слизывая мельчайшие крупинки с гладкой металлической поверхности.

Поезд из Новосибирска прибывал в Курган ночью, когда троллейбусы и автобусы уже не ходили, и Макс Михайлович топал пешком по темным улицам. Иногда, в виде особой милости, он брал с собой сына. Миша очень любил эти ночные прогулки, скрип снега, далеко разносящийся по пустынным улицам, темные массы домов с редкими освещенными окнами, от которых веяло уютом и теплом. И Луна, серебряная царица его сердца, освобожденная от сотен нескромных глаз, откровенно и радостно улыбалась ему, и только ему.

В этот раз они добрались до вокзала насквозь промерзшие: тянул небольшой ветерок, но при двадцатиградусном морозе он пробирал сквозь любую одежду. Несколько минут ушло на привыкание к свету и теплу. Задубеневшие щеки отходили с легкой болью, из носа слегка текло, глаза сами собой жмурились от ярких ламп.

– Я схожу в справочную, – сказал Макс Михайлович, – подожди меня здесь.

Окошко справочной было прикрыто занавеской. «Сейчас вернусь» значилось на бумажке, прислоненной изнутри к стеклу. Макс Михайлович облокотился на подоконник перед окошком и принялся ждать. Делать все равно было нечего, по расписанию до прибытия поезда оставалось больше получаса.

Оставшись один, Миша некоторое время бродил по залу, разглядывая спящих на скамейках. Спали в двух позах: свесив голову на грудь, либо запрокинув ее назад. У первых изо рта подтекала слюна, у вторых бесстыдно распахивался рот, обнажая пломбы, сломанные зубы, рыже– черные, подобно подтекам на унитазах, наросты камня.

Возле лестницы ведущей вниз, к туалетам, стояло несколько человек. Один, явно пьяный, слегка пошатывался. По его лицу плавала беспричинная улыбка удовольствия, он что-то невнятно бормотал и подмигивал невидимому собеседнику. Двое мужиков в тяжелых грубых пальто курганского пошива слушали третьего. Он оживленно говорил, жестикулируя и раскачиваясь.

Миша сразу узнал его, это был обидчик с пляжа, тот самый, который приказал ему попрыгать, поэтому он начал огибать группу, стараясь оставаться за спиной у обидчика.

Тот внезапно схватил пьяного за воротник пальто, рывком подтянул к началу лестницы и ударом в скулу толкнул вниз. Ноги пьяного понеслись по ступенькам, чудом удерживая равновесие, он отталкивался руками от одной стенки, перелетал к другой и снова отталкивался. За несколько секунд он оказался внизу и со всего маху врезался в дверь, закрывавшую вход в туалеты. Дверь, висевшая на тугой пружине, плавно распахнулась, смягчив удар, и пьяный оказался внутри. Через несколько секунд он вышел, очумело поматывая головой. Глянул вверх и, решив, что внизу безопаснее, снова скрылся за дверью.

– Ты за что его? – недоуменно спросил один из мужиков.

– А просто так! – весело ответил обидчик. – Хотел посмотреть, как он по лестнице кувыркаться будет.

– Ты чо, зверь? – удивился второй мужик.

– Скучные вы, – объяснил обидчик. – Радости от вас никакой. И лица у вас серые, просто люди ночи. А жить – жить надо весело!

Он обернулся и увидел Мишу.

– Козлик! – радостно воскликнул он. – А ты здесь откуда?

Миша не ответил, а повернулся к нему спиной, чтобы идти в другой конец зала. Не успел он сделать два шага, как ощутил на своем плече тяжелую руку обидчика.

– Ты куда это почапал? – спросил он, поворачивая Мишу лицом к себе. – Знакомых не узнаешь?

– Оставь, оставь мальчика, – громко сказал первый мужик. – Кончай веселье.

– Кончать, так кончать! – тут же согласился обидчик и, не отпуская Мишиного плеча, протянул вторую руку мужику. – Лады?

– Лады, – согласился тот, вкладывая ладонь в ладонь обидчика.

Их ладони пересеклись в примиряющем рукопожатии, но вдруг мужик скривился и слегка присел.

– Ты чо, гад, делаешь! – тихонько заскулил он. – Кости поломать хочешь? Отпусти немедленно!

– А ты не суй свой нос, куда не надо, – угрожающе произнес обидчик. – Стоял себе и стой. Уразумел, чмо?

Он сильнее сжал руку и мужик, взвизгнув, присел еще ниже. Воспользовавшись паузой Миша обернулся в сторону справочной, где ни о чем не подозревая, читал газету его отец и крикнул:

– Папа, папа!

Макс Михайлович поднял голову, быстро сунул газету в карман пальто и двинулся в Мише.

Обидчик, увидев Макса Михайловича, как будто обрадовался. Он выпустил из ладони руку мужика, толчком отбросил его в сторону, и, не отпуская Мишу, замахал свободной рукой:

– Посюдова, посюдова ходи! Козлика папа, козел настоящий!

Макс Михайлович подошел почти вплотную. Лицо его не выражало ничего хорошего. Не доходя двух-трех шагов до Миши он вдруг встал, словно вкопанный, резко переменялся в лице и подчеркнуто вежливо произнес, глядя за плечо обидчика:

– Никаких проблем, товарищ милиционер! Все нормально.

Обидчик повернул голову, и Макс Михайлович, словно играючи, ткнул его собранными щепотью пальцами в солнечное сплетение. Обидчик охнул, обмяк, и, выпустив Мишу, схватился обеими руками за живот. Его лицо бледнело на глазах, ноги подкашивались, он с трудом удерживал равновесие.

– Еще раз, – спокойным голосом произнес Макс Михайлович, – еще раз ты подойдешь к моему сыну ближе, чем на два метра, я займусь тобой по настоящему. Курган город маленький, я тебя быстро отыщу, как бы ни прятался. Понял, козлик?

Обидчик кивнул головой и громко рыгнул. Его мутило, кадык ходил вверх и вниз, удерживая рвущуюся из горла рвоту.

– Пошел на улицу, – приказал Макс Михайлович, – нечего пол пачкать.

Обидчик молча двинулся к выходу. Мужики последовали за ним. Судя по их лицам, они намеревались продолжить разговор.

– Пойдем, присядем, – сказал Макс Михайлович. – Поезд опаздывает на три часа. Домой идти бессмысленно, будем дожидаться здесь.

Несколько минут они бродили по залу в поисках свободной скамейки, отыскивали ее в самом конце, и уселись друг возле друга, отец и сын.

– Это твой знакомый? – спросил Макс Михайлович.

– Нет, я его второй раз вижу.

И Миша рассказал историю первой встречи с обидчиком.

– Вот же подонок! Ну, теперь, надеюсь, он больше не полезет.

– Папа, ты где научился так драться? – спросил Миша. – На фронте?

– А где же еще, как не там. Я же тебе рассказывал про разведку.

Миша обожал слушать рассказы отца. Правда, это удовольствие выпадало не часто, но если удавалось его разговорить, то истории сыпались из Макса Михайловича одна за другой. Он называл их эпизодами. Особенно нравились Мише истории из жизни дивизионной разведки, в которую отец попал сразу после возвращения из госпиталя. Но одно дело слушать рассказы о захвате «языков» и про рукопашные бои, и совсем другое видеть своими глазами, как это делается.

– Папа, расскажи эпизод.

– Ну.... – Макс Михайлович потянулся и откинулся на спинку скамейки. – Может, лучше поспим?

– Нет, эпизод!

– Ладно.

Он задумался на несколько минут.

– Знаешь, этот негодяй и его беспричинная жестокость напомнили эпизод, случившийся со мной зимою 1943 года. Служил я тогда в дивизионной разведке, был на отличном счету, к наградам представлен и милостью командиров не обижен. Задания наши были несложные: пробраться незаметно в тыл противника, подкараулить кого постарше званием, захватить и переволочь через линию фронта. Тут требовались терпение и выносливость, иногда приходилось сутками лежать в снегу, отогреваясь водкой и шоколадом.

Про умение драться, стрелять, выносливость и ловкость я не говорю, в разведку брали только тех, кто качествами этими был оделен в полной мере. Да и упражнялись мы постоянно. Рейд в немецкий тыл длился несколько часов, иногда дней, а тренировались неделями. Бросали нож с большого расстояния, стреляли на бегу и в падении, без конца отрабатывали приемы рукопашной схватки. Жизнь у нас была сытная и вольная, командовал нами лично командир дивизии, а больше мы никому не подчинялись. Ну, кроме, командира группы – нашего непосредственного начальника.

Отношения в группе были самые душевные, на звания никто не смотрел. Ведь завтра вместе линию фронта переходить, а там субординация не поможет, там надо понимать друг друга с полуслова, полунамека.

Ну вот, вызвал меня однажды командир группы, майор Марлов, и говорит:

– Макс, генерал поручил нам любопытное дело. Я знаю, что оно тебя заинтересует. Но есть тут небольшая загвоздка, и без твоего согласия я не хочу отряжать тебя на это задание.

– В чем же загвоздка? – спрашиваю.

– А вот в чем, – отвечает Марлов. – Задание выполнять нужно в глубоком тылу врага, в течение длительного времени. Легендой и документами соответствующими тебя снабдят, но ты сам знаешь, какая участь ожидает представителей твоего народа, ежели случится им к немцам угодить. Тут не помогут никакие документы. Попадешь в плен, – он указал рукой на мою ширинку, – быстро выяснят, кто ты такой и... знаешь ведь, как поступают с вашим братом. В общем, тебе решать.

– А что тут решать, – говорю. – Коли надо, так надо.

– Тогда слушай. В самой глубине Любанских лесов обнаружилась зона, свободная от немецкой оккупации. Несколько деревушек, около тысячи человек. Советская власть там, рассказывают, как до войны: красный флаг над сельсоветом, портреты вождей, даже демонстрация на октябрьские праздники была. Немцы туда соваться не рискуют, командует этой

зоной некий полковник Куртц. В списках Красной армии такой не значится, видимо, самозванец, но власть он держит крепко. Судя по слухам – жесткой рукой, чересчур жесткой. Говорят, будто он колдун и сила у него немереная.

– Колдун? – удивляюсь.

– Немцы так говорят, оттого и не суются. «Языки» рассказывали, будто он властвует над силами тьмы. Боятся его панически и наши, и немцы. В общем, странная история. Мы посылали к нему представителя, капитана Болдина, но он не вернулся. Надо пробраться в эту зону и выяснить все хорошенько.

Я, конечно же, согласился. История действительно выглядела странной, и было в этой странности нечто манящее, загадочное. Про опасность тогда как-то не думалось: смерть ходила возле меня каждый день, я привык к ее присутствию и перестал о ней думать.

Несколько дней ушло на изучение карт и легенды. Мне показали фотографию Болдина, познакомили с его личным делом, я выучил наизусть названия всех поселков, входящих в «зону Куртца». Инструкции, полученные мною, были таковы: я должен вступить в контакт с Куртцем и передать ему указания центра, а в случае отказа сотрудничать – устранить его, принять командование зоной и обеспечить посадку самолета с Большой земли.

Задание меня не пугало, в те годы я вообще ничего не боялся. Страх – удел знающих, я же действовал, словно автомат: бегал, стрелял, сидел в засаде. В моей голове будто включился механизм защиты: все, что мешало выживанию, отошло на второй план. Я помнил о родителях, о твоей маме, о прошлой, довоенной жизни, но все это словно скрывалось за тюлевым занавесом, сквозь который можно было разглядеть только внешние очертания предметов.

Приземлился я очень удачно, прямо в центре большой поляны, закопал парашют поглубже в снег, сориентировался по компасу и двинулся в путь. Ходьба по ночному лесу – занятие не из самых приятных, а до рассвета оставалось совсем немного, поэтому я отыскивал пенек поудобнее, счистил снег и присел, дожидаться восхода солнца.

От нечего делать я стал озираться по сторонам, темнота в лесу не беспроглядная, контуры деревьев можно рассмотреть. Очень скоро мое внимание привлек темный предмет, покачивавшийся среди веток сосны. Поначалу я решил, что это обломанная ветвь, застрявшая в кроне, но постепенно страшное подозрение закралось в мою голову. Не в силах дожидаться рассвета, я подошел поближе и направил на предмет узкий лучик фонарика. Б-же мой! Мои подозрения подтвердились. На дереве висел повешенный.

Судя по остаткам формы, это был немец. Его тело было жутко изуродовано, клочья замерзшего мяса свисали со всех сторон. Я надеялся, что это случилось уже после смерти, потому что в противном случае муки немца не поддавались бы никакому описанию.

Мне доводилось видеть страдания, и человеческие увечья также были не в новинку, но вид этого немца привел меня в смятение. Я достал компас и ринулся сквозь сугробы, стараясь как можно быстрее уйти подальше от трупа. Его лицо, искаженное гримасой боли, с выкаченными глазами и замерзшей кровавой пеной вокруг рта стояло перед моими глазами.

Я шел, не останавливаясь, около часа. Начало светать и при первых проблесках зари я обнаружил еще одного повешенного. На сей раз им оказался крестьянин, с длинной бородой и стоявшим дыбом венчиком седых волос. На вид ему было лет тридцать, осмотрев издали труп, я пришел к выводу, что крестьянин поседел от перенесенных перед смертью страданий. Его просто рвали на куски, выдирая чем-то острым клочья мяса. Схожесть двух трупов наводила на мысль, что тут действовала одна рука. Разные предположения закружились в моей голове, но я отодвинул их в сторону, решив не делать пока никаких выводов.

На третий труп я наткнулся спустя десять минут. Это была женщина, повешенная за крюк, воткнутый под ребра. Перед казнью с нее содрали одежду, а уже на крюке – кожу. Пласты кожи, словно тряпки, свисали вниз, почти касаясь снега. Нижний край уже погрызли

лесные звери, задубевшее от холода розовое мясо с синими прожилками покрывал снег. На груди у женщины висела табличка: «она давала немцу».

Меня едва не вывернуло наизнанку. Несколько минут я стоял, подавляя рвотные позывы, а затем двинулся дальше. Подойти к трупам я не мог. Впрочем, и к предыдущим я не рисковал подступить на близкое расстояние, и, как выяснилось впоследствии, мои подозрения оказались не напрасными.

Вокруг каждого трупа были установлены два ряда растяжек: граната с тонкой проволокой, привязанной к чеке. Проволока и гранаты скрывались в снегу, и зацепиться за них ничего не стоило. Любопытных, желающих рассмотреть подробности, ожидала неминуемая смерть.

Слухи о жестких мерах, с помощью которых Куртц поддерживал в своей зоне порядок и дисциплину, полностью подтвердились. Вернее, действительность оказалось куда страшнее, чем слухи. Нельзя сказать, что увиденное повергло меня в смятение, но мысли мои путались, и план предполагаемых действий, выработанный за линией фронта, казался теперь мало соответствующим реальности. С человеком, способным допустить подобного рода жестокости, надо разговаривать совсем в ином тоне и с других позиций. Однако выбора не было, и я двинулся дальше, уповая на то, что удача, до сих пор оберегавшая меня, и на сей раз не отступится от своего подопечного.

Деревья начали редеть, судя по всему, я приближался к опушке. Обрадованный, я ускорил шаги, как вдруг из-за спины раздался окрик:

– Стой! Руки вверх!

Черт побери! Потрясенный увиденным, я перестал следить за лесом и проскочил дозорного. Такие ошибки часто оказываются последними. Непростительная оплошность для дивизионного разведчика!

– Руки! – снова крикнул дозорный, – кому сказано, руки вверх!

Я повиновался. Честно говоря, подстрелить эту птичку не составляло никакого труда: половина наших упражнений состояла из отработки такого рода ситуаций. Я мог стрелять в прыжке, в падении, на голос, не оборачиваясь назад. Но планы мои были совсем другого свойства, и поэтому я покорно поднял руки, и повернулся.

Передо мной, весь засыпанный снегом, стоял парень лет двадцати, в полушубке, валенках и ватных штанах. Как видно он лежал в сугробе или сидел в яме, поэтому я его не заметил.

– Кто такой? – грозно спросил он, покачивая трофейным «шмайсером».

– Старший лейтенант Быков, – сказал я. – Выброшен ночью с парашютом. Мне нужен полковник Куртц.

– Покажь документ, – потребовал дозорный.

– Послушай, парень, – сказал я, стараясь говорить как можно мягче. – Ты ведь тут, наверное, давно лежишь, а «шмайсер» на морозе заклинивает. Если я, вместо документа, вытащу из-за пазухи пистолет, ты моргнуть не успеешь, не то, что затвор передернуть.

– Иди ты! – недоверчиво произнес парень и, подняв дуло кверху, нажал на курок. Выстрела не последовало.

– И точно, – он передернул затвор и снова направил на меня автомат. – Бросай пистолет!

– Кончай душить, – сказал я. – Ты разве не видишь, что я не немец и не полицаи. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже давно в снегу валялся. Веди меня к Куртцу.

– Так он тебя и заждался, Куртц! Поперва командир дозора с тобой разберется. Пошли.

– А куда идти-то?

– Иди прямо, опушку не видишь что-ли?

Через пять минут я остановился.

– Не могу идти с поднятыми руками.

Парень не ответил. Я опустил руки.

– Вверх, верх руки, сука! – заорал вдруг он, покачивая стволом.

– Дружок, – сказал я, – руки у меня в варежках. Пока я их сниму, да пока пистолет вытащу, да на тебя наведу, ты пять раз выстрелить успеешь.

Он недоверчиво покачал головой, но принял мой ответ. Мы двинулись дальше. Я шел и улыбался. В моей правой варежке лежал крошечный браунинг, и я мог застрелить дозорного, не обнажая руки. Кроме того, в специальной подстежке рукава ждал своего часа нож с тяжелой сбалансированной рукояткой. Таким ножом я шутя пробивал каску с десяти шагов.

Лес закончился, мы вышли на заснеженное поле. Прямо перед нами курились дымки над крышами небольшой деревеньки. От нас ее отделяла полоска замерзшей речушки с переброшенным ветхим мостом. Мой конвоир жестом указал мне на него. Подойдя ближе я вздрогнул: к перилам моста были прибиты тонкие шесты с нанизанными на них человеческими головами. У некоторых голов глаза были открыты, у других они просто отсутствовали; вырвали их во время пытки, или птицы уже успели сделать свое дело, кто знает.

– Боисси? – хмыкнул парень. – И правильно боисси. Если начнешь врать или запираешься, быстро окажешься на шесте. Или на дереве. Видал, поди, когда по лесу шарашился?

– Видел, – коротко ответил я.

– Ты вот что, – продолжил парень. – Руки-то подними. А то мне за доброе к тебе отношение разнос учинят.

Я поднял руки. Мы перешли мост и, спустя несколько минут, оказались на улице деревеньки. Конвоир подвел меня к одному из домов, поставил лицом к стене и постучал в дверь.

– Пленного привел, – сообщил он в открывшуюся дверь. – По лесу ходил, Куртца требует.

– Щас разбужу командира, – буркнули из сеней. – Будет ему Куртц на всю ивановскую.

Минут через двадцать на крыльцо вышел заспанный человек в полушубке, накинутом на военную форму. Видно было, что он спал не раздеваясь. Окинув меня беглым взглядом, он приказал:

– В избу.

Мы вошли. Меня крепко схватили под руки, обыскали, вытащили оружие, документы, несколько плиток шоколада и положили на стол рядом с дымящейся кружкой чая. Капитан Болдин – его я узнал сразу, как только он вышел на крыльцо, кивком головы отпустил своих людей и жестом пригласил сесть.

– Откуда вы?

Я назвал номер части, имя командира, номер полевой почты. Болдину они были прекрасно известны. Ведь его самого посылали в тыл те же самые люди. Он пристально посмотрел на меня и спросил:

– Узнали?

Отрицать не было смысла.

– Узнал.

– Я доложу о вас Куртцу. Но хочу предупредить – это необычный человек. Он видит всех насквозь. Рекомендую, не играйте с ним в кошки-мышки. Выкладывайте дело, как есть. Это может спасти вашу жизнь.

– А разве она в опасности? – удивился я.

Болдин усмехнулся.

– Вы что, не видели приветственные плакаты? Если Куртц решит, что вы врете, он передаст вас опричникам. И тогда я советую сразу принять яд, если он у вас есть.

Яд у меня был, и Болдин прекрасно об этом знал. Поэтому я решил использовать заранее припасенный козырь.

– Николай Семенович, у меня в шапке зашито очень важное письмо. Позвольте его достать.

– Дайте мне шапку, – сказал он, – я сам достану.

На это я и рассчитывал. Спустя минуту шапка оказалась в руках у Болдина. Он быстро прощупал ее, обнаружил письмо, подрезал подкладку, вытащил, открыл и замер.

Письмо было от жены Болдина. Отчаянное, умоляющее письмо. Не отозваться на него мог только камень. И Болдин отозвался.

– Чего вы хотите? – спросил, подняв на меня глаза, полные слез. – Зачем вас сюда прислали?

– За тем же, что и вас, Николай Семенович.

– Это невозможно. Тут, в глуши белорусских лесов, рождается новая вера. Верующие назовут Куртца Мессией или Антихристом, коммунисты вторым Лениным, но этот человек пришел изменить лицо мира.

– Чем он так вас убедил, Николай Семенович?

– Говорю вам, этот человек расширил мое сознание! – воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками. – Я его слуга, его раб, его ученик. Я пойду туда, куда он скажет, сделаю то, что он велит. Зачем, – он взмахнул письмом, – зачем вы мучаете меня этим?

– Николай Семенович, – попробовал я зайти с другого бока, – мне ведь тоже интересен Куртц. И не только по заданию! Столько о нем слышал толков и пересудов, а поговорить с нормальным здравым человеком, знающим его не понаслышке, так и не довелось. Расскажите о нем, Николай Семенович!

Он опустил голову, взял в руки кружку, и несколько минут держал ее словно согревая ладони. Потом отхлебнул и посмотрел на меня. Глаза его стали сухими, а лицо строгим, как видно ему удалось овладеть собой.

– Зачем вам мои слова. Они только бледная копия, по сравнению с оригиналом. Я направлю вас к полковнику.

– Спасибо, я буду рад с ним поговорить.

– С Куртцем не говорят, Куртца слушают. Еще раз рекомендую – не обманывайте. Ничего кроме правды. Куртц не любит, когда его пытаются обмануть.

– Да, вы уже предупреждали меня об этом, и я постараюсь следовать вашему совету. И последний вопрос, Николай Семенович: кто такие опричники.

– Опричники, – Болдин усмехнулся. – Я вам желаю видеть их только на расстоянии. Это цепные псы Куртца, ближайшая охрана. Человек тридцать готовых на все головорезов. Дезертиры, окруженцы, бывшие полицаи. Терять им нечего, будущего без Куртца у них нет. Ни по эту, ни по другую сторону от линии фронта.

Меня отвели в сарай и заперли дверь. За тонкой стенкой поскрипывали шаги часового. Я быстро замерз и принялся ходить взад и вперед, лавируя между вязанками соломы и штабелями поленьев. Спустя час или полтора, часы у меня отобрали, поэтому время я мог определить только примерно, послышалось фыркание лошади, скрип полозьев и громкие голоса. Дверь сарая распахнулась: на пороге стоял здоровенный детина в меховой шапке набекрень. В одной руке он держал «шмайсер», а в другой моток веревки с петлей на конце. Страх сжал мое сердце.

– Этот что-ли? – крикнул детина, оборотясь к часовому.

– Этот.

– Давай, паря, выходи на суд, – сказал он, поворачиваясь ко мне. По его лицу блуждала глумливая улыбка, я вспомнил предупреждение Болдина и пожелал, чтобы его пожелание исполнилось.

Меня вывели из сарая, крепко связали руки за спиной, посадили в сани и повезли. Дорога углублялась в лес все глубже и глубже, и вскоре мы оказались посреди чащи. В санях вместе со мной сидели еще три опричника. Они непрерывно курили, запах махорки смешивался с тяжелым перегаром, хорошо различимым в чистом морозном воздухе. Сопротивляться было бесполезно, мой нож, по-прежнему упрятанный в потайном кармане, оказался недостижим, да и что бы я поделал с одним ножом против четырех хорошо вооруженных и бесшабашных парней.

Сани остановились посреди поляны. Вокруг не было даже намека на жилье, и цель поездки уже не вызвала сомнений. Но я ошибся. Мы вылезли из саней, перешли через поляну и там, в глубокой ложбине, оказалась целая усадьба с большим домом под высокой соломенной крышей, пристройками, двором, огороженным изгородью.

Мы вошли в дом, мне развязали руки и провели в комнату. У окна, глядя прямо на меня, стоял высокий брюнет с крепкими плечами вразлет и острым взглядом широко расставленных глаз. Глубины они были такой, что, казалось, засмотришься да и улетишь в них, ухнешь в пропасть, заполненную влекущим черным мраком.

На столе горкой лежали мои документы и все отобранные у меня вещи. Даже треугольник письма жены Болдина был там, зажатый между плитками шоколада. В комнате тикали настенные часы, над столом висел портрет Сталина. Для Куртца стояло глубокое кожаное кресло, а перед столом, для посетителей два простых стула.

– Старший лейтенант Быков, – насмешливо произнес Куртц. – Хорошо, что не Иванов. У вас на лице просто написано – Рабинович или Шмуклер. Какая ваша настоящая фамилия?

– Додсон. Старший лейтенант Макс Додсон.

– А отчество.

– Моисеевич.

– Раздевайтесь, Макс Моисеевич. Присаживайтесь к столу, будем чай пить. Вы, наверное, устали с дороги.

Я медлил, не зная, как отреагировать на слова Куртца.

– Послушайте, Макс Моисеевич, – усмехнулся он, – вытаскивайте уже, что там у вас запрятано, нож или пистолет. Убивать меня сейчас нет никакого смысла, мои опричники разорвут вас на части, и задание останется не выполненным. Вам ведь, приказали сначала войти со мной в контакт. Приказали?

Я утвердительно кивнул головой.

– Ваши дивизионные начальники, в великой гордыне своей, почему-то убеждены, что война ведется только на вверенном им участке фронта, и что все решения принимают только они. Им даже в голову не может придти, что существуют глубинные задачи, стратегические цели?

Я достал из потайного карман нож положил его на стол, рядом с документами.

– Петруша, подай самовар! – негромко приказал Куртц.

Ситцевая занавеска, выгораживающая угол комнаты отодвинулась, из-за нее вышел парень с автоматом наперевес, поглядел на меня, потом на Куртца.

– Иди, иди, – сказал тот, усаживаясь в кресло. – Макс Моисеевич разумный, интеллигентный человек, и только что доказал это. Да, завтрак для гостя принеси, его ведь покормить наверняка забыли.

Я сел на стул. Куртц улыбнулся мне, и спросил.

– Вас послали убить меня, Макс Моисеевич?

– Да.

– Бессмысленная жестокость! Кровь нужно проливать со смыслом. Смерть должна внушать страх, воспитывать, оптимизировать ситуацию. Устранение меня деструктивно, а потому нерационально. Все происходит из-за того, что штабные работники не в силах

проанализировать ситуацию и понять, как она может развиваться дальше. Из-за этого они послали на смерть капитана Болдина, а теперь вас. Вам не кажется обидным умирать из-за нерасторопности штабистов?

Я пожал плечами:

– Разве нас спрашивают? Дают задание, указывают сроки. Вы ведь тоже военный человек, разве вам не случалось посылать солдат на верную гибель?

Куртц улыбнулся.

– Под Сталинградом мне довелось работать с маршалом Жуковым. Я не раз слышал, как он говорил: русский солдат – это жопа. С какой стороны его поверни, кругом выходит жопа.

А я скажу больше...

Дверь распахнулась. Вошел Петруша, неся на вытянутых руках самовар. Поставив его на стол, он быстро вышел, а, вернувшись, принес котелок с кашей, две кружки и полбуханки хлеба.

– Прошу, Макс Моисеевич, – Куртц указал на котелок. – Шоколад вкусная и полезная еда, но по мне нет ничего лучше каши с мясом. Вы налегайте, а я пока чаю выпью.

Честно говоря, я изрядно проголодался и с большим удовольствием принялся за еду. Куртц налил чаю, сделал несколько глотков и продолжил.

– Так вот, я скажу больше, русский человек по своему характеру – сплошная жопа. В том смысле, что понимает только язык битья, и чем больше этого битья к жопе приложить, тем больше она страшится, уважает и восхищается. За примерами далеко ходить не нужно. Петр Первый залил Россию кровью, на дыбу ее вздернул, хребет на чужой лад своротил, и что? Великим называют, почитают и превозносят! Александр Первый от французов родину спас, пол-Европы прошел, российский флаг в центре Парижа водрузил, а кто о нем помнит? Потому что реформами увлекался, жопу не розгами, а березовым веничком учить пробовал. А внук его, Александр, блаженной памяти, Второй? Отменил крепостное право! В Америке еще рабство было, а этот просвещенный монарх вольную народу дал. И какова благодарность жопы? Взорвали его, вместо благодарности.

– Такие рассуждения звучат несколько странно в устах человека с нерусской фамилией, – осторожно заметил я.

– Отлично! – Куртц усмехнулся. – Это уже похоже на возражение. Я, признаться, успел позабыть в этой глуши, что такое спор. Однако ваш аргумент несостоятелен; Россия всегда жила чужим умом, вернее, доверяла иностранным специалистам больше, чем себе самой. Сначала призвали варягов, управлять телом, затем греков, править душой. Петр положил Россию под голландцев, Анна и Елизавета под немцев. Знать российская – языка своего стеснялась, говорила только по-французски, на родном языке стыдно было. И новая Россия по тому же пути пошла – навезли инспекторов, чтобы уму-разуму обучили. Я уж не говорю про коммунистическое учение, нашу новую веру, и она привозная, нерусских корней.

Что же до моей фамилии, то вы, Макс Моисеевич, не обращайтесь на нее внимание. Это псевдоним, партийная кличка. Настоящее мое имя куда благозвучнее для русского слуха. А это я выбрал по имени любимого персонажа. Как у вас обстоят дела с иностранной литературой, вы вообще читать любите?

– Не очень, – честно признался я.

– Оно и видно. Ну, да ничего, в нынешних условиях умение стрелять и бросать нож более полезно, чем знакомство с зарубежной классикой.

Я закончил кашу и отставил котелок в сторону. Куртц тут же пододвинул мне кружку, отломил полплитки шоколада.

– Ешьте, ешьте, Макс Моисеевич.

Он отпил еще несколько глотков, достал из кармана пачку «Казбека», закурил, вкусно затянувшись дымом.

– Нынешней государь, Иосиф Первый, не русский по крови, поэтому понимает, как с жопой обращаться, и как храбрость, и отвагу в сердце славянское влить можно. Вот он-то Россию и спасет. Спасет и выведет, помяните мое слово. Его долго еще почитать будут, почитать, любить и славословить.

Ну, да ладно, вернемся к нашим баранам. Вот вы, офицер Красной Армии, посланы со спецзаданием в тыл врага. Но враг оказался хитрее, чем предполагали в штабе. Перед вами два выхода: умереть с честью, то есть, храня верность недалекому штабисту, или служить мне. Звучит менее благородно, чем красивая смерть, но зато не так больно и открывает разные перспективы. Главное это жить. А там видно будет. Не так ли, Макс Моисеевич?

Я молчал, не зная, что ответить. Рассуждения Куртца были занимательны и несколько неожиданны, но нарушить воинский долг, за минуту сменить кожу я не мог. Молчание длилось несколько минут. Нарушил его Куртц.

– Вы мне нравитесь, Макс Моисеевич. Выбор не прост, совсем не прост и ваши колебания свидетельствуют, что понятие долга и чести вам не чужды. Хорошо, я облегчу задачу. Вы не переходите ко мне на службу, вы остаетесь моим пленным и даете слово, что не будете пытаться вредить мне. Я поселю вас при штабе, в доме, где мы сейчас находимся, и изредка буду поручать мелкие задания. У вас будет достаточно времени посмотреть, взвесить и принять решение. Согласны?

– Согласен, – сказал я.

Выбора, на самом деле у меня не было. За необъяснимой милостью Куртца, несомненно, скрывался некий, пока недоступный моему пониманию, замысел. Потому я согласился и перешел на привилегированное положение личного пленника командира.

Поселили меня в небольшой комнатке при штабе и дел действительно никаких не поручали. Иногда лишь Куртц приносил мне неисправные пистолеты, револьверы и другое стрелковое оружие с просьбой наладить и починить по мере возможности. Я неплохо разбирался в этих вещах, но попросил небольшие тисочки, напильники, сверла и прочий слесарный инструмент. Через несколько дней мне доставили все необходимое для ремонтных работ, и я принялся за дело. Смазывал, налаживал, чинил, а что невозможно было исправить, разбирал на части и хранил для будущих починок.

За три месяца, которые я провел у Куртца, комнатка превратилась в небольшую мастерскую. Куртц, похоже, был очень доволен моей деятельностью. Иногда он заходил ко мне, курил, высказывался по разным предметам, изрекая глубокомысленные фразы типа: тьма пришла с запада, и тьма стоит на востоке, а мы посередине, в сердце тьмы, и разогнать ее может только луч солнца, если сумеет пробиться сквозь лунное сияние.

Я никогда с ним не спорил, и не задавал вопросов: выслушивал его монологи с величайшим почтением, и только головой кивал, мол, все понимаю и согласен.

Кроме одного случая, о котором я расскажу позже, в его поведении и образе жизни не было ничего вызывающего удивление. Слухи о колдовских чарах Куртца оказались сущей ерундой, просто он был жестоким и умным, умел запугать и, играя на суевериях, держал в подчинении целый район.

Один раз он попросил меня попрактиковать его опричников в метании ножа. Собрали человек десять, привели в сарай, раздали ножи. А душа моя к этому делу совсем не лежала, одно дело пистолеты поправлять, да ружья налаживать, и совсем другое своими руками этих бандитов убийству обучать.

Стал я им рассказывать да объяснять, но главное, секрета мастерства, не показывал. Нож должен быть сбалансирован определенным образом так, чтобы в полете сам собой разворачивался острием вперед. Штука эта нехитрая, нужно определенным образом утяжелить

ручку плюс еще несколько маленьких секретов. Ничего этого я говорить не стал, а обучал их метанию самых обыкновенных ножей. Рука у меня была натренированная, поэтому даже самый простецкий нож я ухитрялся всаживать в доску почти до рукоятки, а вот у опричников ничего не получалось. Покидали мы ножи дня два, а потом я говорю Куртцу: ничего из тех ребят не выйдет, неумелые мол, нерасторопные. В разведку, поясняю, одного из нескольких сотен выбирали, а тут собрали, кого ни попадя.

Он посмотрел на меня с подозрением, но ничего не сказал и велел вернуться в мою комнатку. Но занятия с опричниками на этом прекратились, и больше он меня ни о чем таком не просил.

Честно говоря, было там пару ухватистых парней, которых я бы за недельку другую мог многому обучить, но душа, как я тебе говорил, к тому не лежала.

Макс Михайлович поднялся со скамейки.

– Пойду в справочную, узнаю, как там дела с нашим поездом.

Миша, как зачарованный глядел ему вслед. Такого эпизода он еще не слышал. Медлительность отца, его размеренная, неспешная манера говорить и действовать, предстали перед ним в совсем ином свете: теперь они свидетельствовали о скрытой силе, о пружине, сжатой в тугой клубок и сдерживаемой одним только усилием воли.

Макс Михайлович вернулся, и со вздохом уселся возле сына:

– Не наверстывает, такое же опоздание. Осталось полтора часа. Может, все-таки поспишь?

– Нет-нет, – Миша замотал головой. – Рассказывай дальше, очень интересно.

– Ну вот, был среди них один ловкий парнишка, по фамилии Бурмин. Его все называли Бурмилой, наверное, потому, что в борьбе он, не смотря на средний рост и ничем не примечательную внешность, вел себя как медведь. Хватал противника, отрывал от земли и отбрасывал далеко в сторону. Вот этот самый Бурмила с ножом обращался довольно прилично, задатки у него были хорошие, но не нравились мне его глаза, плутоватые и бегающие. И самогонку он крепко любил, впрочем, ее все там любили, дел-то никаких у опричников и не было. Выйдут иногда на рейд, или в деревню за пределами зоны пройдутся, а остальное время пьянствуют да спят.

Бурмила ко мне всяко подкатывался, научи, да научи ножом владеть, даже после того, как Куртц наши занятия прекратил, заглядывал в комнатку, сало приносил, самогонку, приглашал выпить. Я отказывался; не люблю опьянение, дурно, тяжело дышать, давит... А уж про похмелье и говорить нечего, пили ведь там наигрубейший самогон, от одного запаха которого меня на рвоту тянуло.

Парень он был смысленный, сообразил, что простым ножом работать неудобно, и притащил мне свой, стал выпытывать, как его правильно уравновесить. Я опять отделался самыми общими пояснениями, сказал, что этим занимаются специальные мастера, которые не разглашают своих секретов. Но Бурмила не успокоился и врезал в ручку два свинцовых кольца. Нож стал ходить лучше, но, несмотря на усовершенствование, ему было еще далеко до настоящего боевого оружия.

Бурмила понимал, что я не все рассказываю, и продолжал нудить, расспрашивать. Пришлось дать ему отворот в достаточно категоричной форме и он, как потом выяснилось, затаил обиду и носил ее в себе, пока не представился удобный случай отомстить. Мне то он сделать ничего не мог, я бы его голыми руками задавил, точно собачонку, и Бурмила отыгрался на Конраде, которого считал моим приятелем.

Конрадом звали ординарца Куртца, его парикмахера, повара, денщика. Все, что относилось к личной, бытовой жизни полковника, лежало на плечах Конрада. Он был польским коммунистом из Варшавы; когда немцы вошли в столицу, Конрад бежал к русским, перешел границу и немного помаялся в Гродно, пока случайно не встретил на улице комис-

сара расквартированной в Гродно дивизии, с которым встречался в тридцатые годы на конгрессе Коминтерна. Тогда комиссар занимал высокий пост в партийном аппарате, но во время чисток потерял все и теперь рад был даже такой скромной должности. Человеком он оказался порядочным, не стал притворяться, будто не узнает Конрада, а поручился за него перед соответствующими инстанциями. Благодаря этому поручительству Конрада приняли парикмахером в Дом офицеров, где он и проработал до июня сорок первого года.

Вместе со штабной колонной Конрад бежал из горящего под немецкими бомбами Гродно, но по дороге был ранен, несколько месяцев отлеживался в сеновале на отдаленном хуторе, а потом, чтобы не подвергать опасности приютивших его крестьян, стал пробираться на восток. Шел по ночам, на одном из переходов столкнулся с группой окруженцев и вместе с ней провел первую зиму в лесу. Группа потихоньку превратилась в партизанский отряд, который со временем влился в зону Куртца. Узнав, что в отряде есть варшавский парикмахер, Куртц приблизил его к себе, и превратил в ординарца.

В цирюльном деле Конрад знал толк: его бритва никогда не царапала, а компрессы и примочки поддерживали кожу полковника мягкой и эластичной. Куртц вообще отличался чрезвычайной педантичностью в одежде: гимнастерка и галифе всегда были безупречно выглажены, а яловые сапоги сияли в любую погоду. Когда только он успевал наводить на них глянец, никто не понимал. Случалось, что Куртц сутками не вылезал из саней, объезжая посты и дозоры, но возвращался неизменно свежий, с улыбкой на губах и неизменным блеском расчищенных сапог.

Статью Конрад удивительно походил на Бурмилу: оба невысокого роста блондины с походкой чуть в раскорячку, словно у матросов. Иногда, когда он входил ко мне в комнату, и я не успевал сразу разглядеть лицо за поднятым воротником полушубка и низко надвинутой шапкой, то не мог сообразить, что за гость ко мне пожаловал. Это сходство сыграло в судьбе Конрада роковую роль.

Он был милым, добродушным человеком, коммунистическое прошлое теперь представлялось ему чем-то странным и чужим. О варшавской жизни он вспоминал с грустью и сожалением:

– И чего мне не хватало? – говаривал он, присаживаясь возле меня на лавку и сворачивая толстенную папиросу. – Как красиво мы жили, сколько было магазинов, полных всякой еды, по вечерам в парках играли оркестры, красивые паненки ходили по улицам.

Из Любанских лесов жизнь выглядела несколько по иному, чем из районов варшавской бедноты. Конрад вырос на границе еврейского квартала, в детстве играл и дрался с еврейскими мальчишками и неплохо знал идиш. Мы иногда разговаривали на этом языке, он посмеивался над моим произношением, а я был рад возможности вспомнить своих родителей и детство, которое из Любанских лесов тоже представлялось лучезарным и беззаботным.

Я расспрашивал Конрада о Куртце, но кроме бытовых привычек он почти ничего не мог добавить к тому, что я и так успел разузнать. Кроме, пожалуй, одной детали.

Раз в две недели Куртц приказывал запрягать сани, сажал Конрада на облучок и ехал к заброшенной мельнице. Такая поездка, без охраны, представляла собой ощутимую опасность. Не только со стороны немцев; мельница располагалась за пределами зоны, но и со стороны некоторых селян, обиженных Куртцем. Таких было немало, и они запросто могли воспользоваться удобным случаем и отомстить за нанесенные им обиды. Оружия в деревнях было более, чем достаточно, и в ход его пускали без малейшего замешательства.

Так вот, Куртц добирался до старой водяной мельницы на речке Пинчин, оставлял Конрада в санях, брал с собой баклагу с молоком, и что-то искал за водяным колесом. Потом возвращался, с пустой баклагой, приказывал гнать в штаб, уходил к себе в комнату и долго сидел там один, не разрешая никому переступить порога.

Однажды он то ли замешкался, то ли утратил бдительность и Конрад заметил в его руках конверт, похожий на те, в которых перед войной отправляли бандероли. Спрашивать, разумеется, он ничего не стал, но при первом удобном случае наведалься к мельнице и искал в том же месте, где искал Куртц. После недолгих розысков он обнаружил ящик, похожий на почтовый. В нем лежал конверт с надписью: полковнику Куртцу. Перед ящиком стояло пустое корытце со следами замерзшего молока.

Кто отправил эту бандероль и, самое главное, как она попала в ящик, Конрад не знал, а выяснять дальше боялся. Поделившись со мной, он быстро пожалел о том, что проговорился, и взял с меня слово никому и никогда не рассказывать о ящике. Слово я, конечно, дал, но интересоваться продолжил. Увы, кроме этого обрывка информации мне не удалось ничего разузнать, скажу больше, ни в штабе, куда я впоследствии сдал отчет, ни после войны, никто и никогда не слышал о существовании такого рода почтовых сообщений. Теперь мне кажется, что Конрад что-то напутал, но тогда я был убежден в правдивости его слов.

Дружба наша продолжалась недолго, и закончилась трагически. А дело было вот как.

При штабе служило немало женщин, полагаю около пятнадцати или двадцати. Жили они отдельно, кроме двух или трех семейных пар, и всякие шуры-муры были строжайше запрещены. Куртц полагал, и, наверное, вполне справедливо, что дух соперничества, неизбежный при такой значительной разнице между количеством одиноких мужчин и свободных женщин, может привести к ссорам и стычкам. Учитывая буйный характер опричников и разнообразное оружие, бывшее всегда у них под руками, стычки эти вполне могли закончиться перестрелкой и убийствами. Поэтому каждого, кто рисковал приблизиться к женщине и завести с ней разговор не на служебную тему, ждало суровое наказание. Наказания же там были такие, что самые горячие головы моментально остывали.

Радисткой при Куртце служила Любовь Онисимова, ладная девушка из местных. Радиопередатчиков у Куртца было два, он добыл их на складе, оставленном еще при отступлении летом сорок первого года. Тогда планировали развернуть в тылу врага партизанское движение, но всех, знавших месторасположение склада, то ли убили в самом начале оккупации, то ли они сами бежали, куда глаза глядят. Склад так и простоял в глубине лесов, пока его не обнаружил Куртц.

Что он делал с этими радиостанциями, с кем связывался, от кого получал инструкции, я так и не узнал. Но к Любе хотелось подобрать ключик, ведь по плану я должен был передать в каждом из вариантов развития событий определенную цифру на заранее условленной частоте. Пока я присматривался, как это сделать, дела начали приобретать неожиданный поворот.

Конраду было тогда лет за двадцать пять, а Любе Онисимовой шел девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается. Однако говорить о своей любви получалось лишь намеками, потому как я уже говорил, шуры-муры Куртц запретил строго-настрого. Но юность заставляет забывать о запретах, а наказания начинают казаться нереальными. Однажды вечером Конрад ввалился ко мне в каморку и сразу перешел на идиш.

– Вот, что я тебе скажу, дорогой мой, – начал он, освобождаясь от тулупа, – нет моих сил терпеть более. И Люба тоже истомилась. Решили мы вот какую вещь сделать: подговорил я председателя одного из сельсоветов в нашей зоне, что приедем мы к нему поздним вечером, и он зарегистрирует наш брак, согласно советскому закону. А потом явемся к полковнику, объясним все, как есть и доверимся его милости. Он ко мне хорошо относится, даст Бог не обидит.

– А что за спешка? – спрашиваю, – сначала доверьтесь его милости, а потом женитесь. Так, по крайней мере, у него не будет повода вас наказывать.

– Невозможно, – отвечает Конрад, а сам весь дрожит, – на завтра Люба в баньку звана.

Да, я забыл рассказать, что шуры-муры были строжайше заказаны только для опричников, на себя самого Куртц это запрещение не распространял. Несколько раз в месяц одну из женщин приглашали в командирскую баньку, а оттуда Конрад препровождал ее в спальню полковника. Как правило, это были одни и те же женщины, к такому положению вещей все привыкли и воспринимали как само собой разумеющееся. Любу Куртц приглашал впервые и Конрад, хватая воздух перекошенным ртом, неистово бормотал, что не вынесет этого, что зарежет Куртца во время бритья или сотворит с собой и с Любой какое-нибудь страшное действие. Я никак не ожидал от обычно уравновешенного и сдержанного поляка такой бури страсти, но любовь – самый сильный помутитель разума на свете.

Мои попытки урезонить его ни к чему не привели, и дело свершилось так, как его планировали влюбленные. После баньки Конрад вместо спальни полковника отвел Любу за сарай, усадил в сани и погнал к председателю. До деревни было около десяти километров, стояла лунная ночь и успех предприятия не вызывал никаких сомнений. Но все повернулось иначе. Куртц не стал долго ждать, минут через двадцать, убедившись, что Конрад вместе с Любой исчезли, поднял по тревоге опричников. Быстро обнаружили пропажу саней, отыскали следы полозьев и пустились в погоню.

Беглецов нагнали на околице деревни, Конрад, чтобы сбить с толку преследователей, выпрыгнул с Любой в сугроб, а разгоряченная лошадь понесла сани в заснеженное поле. Погоня помчалась следом, и влюбленные успели незамеченными добраться до сельсовета.

Что дальше случилось, мне потом Люба рассказывала. Вбежали они в избу поселкового совета, а председатель уже там, дожидается с книгой записей актов гражданского состояния. Только начал спрашивать фамилию жениха, как вдруг стук в двери.

– Открывайте, – кричат, – открывайте немедленно, полковник Конрада видеть хочет.

Побледнел председатель, затрясся, а Конрад говорит:

– Спрячь нас, не выдавай, а мы уж тебе за это, что хочешь, отдадим, – и часы свои с руки снимает. А Люба колечко девичье с пальца стащила и тоже председателю, – спрячь, не губи.

– Ладно, – говорит Конраду председатель, – ты полезай за печку, да старыми географическими картами, что от школы остались, укройся. А тебя, девушка, я в шкафу схороню. Там раньше партийная литература стояла, да как немцы пришли всю посжигали. Ты между полками-то уместись?

– Умещусь, умещусь, – отвечает Люба, – я ловкая, я справлюсь.

Так и поступили: Конрад в картах зарылся, а Любу председатель в шкаф посадил, на ключик запер, а ключ в карман к себе положил.

Расстояние между полками оказалось большим, Люба без труда уместилась, только ноги пришлось под самое горло поджать. В двери шкафа дырочка была, то ли жучки-древоточцы проели, или по какой надобности крючок там висел, а потом потерялся, но пришлась она как раз против Любиного лица. Подтянулась она чуток и видит, что в комнате происходит.

А в дверь колотят уже с размаху, вот-вот с петель снесут. Откинул председатель щеколду, и опричники гурьбой в сельсовет ввалились.

– Ты пошто, – кричат, – не открываешь? Жизнь тебе недорого, или может, прячешь кого-нибудь?

– Да кого я прячу, – жалобно отвечает председатель, – разве спрячешься от товарища полковника.

А сам пальцем на шкаф показывает. Не знает, подлец, что Люба все видит, и представляется перед ней и Конрадом, играет, точно артист на сцене.

Подошел глава опричников к шкафу, подергал дверь.

– Да тут заперто, – говорит. – А ну, подавай ключ.

– Не помню, не помню, куда ключ-то задевался, – отвечает председатель, а сам по карману себя гладит. – И власть наша поселковая товарища полковника очень уважает, и все приказы его выполняет своевременно и усердно. Вот, последнюю разнарядку по картошке и салу выполнили раньше срока, сдали все, сколь приказано, до последнего граммуска.

Подошел главарь к председателю, вытащил у него из кармана ключ.

– А это что такое? – спрашивает. – У тебя, болезный, память отказывать стала. Так мы полковнику сообщим, пусть он на твое место другого пришлет, а тебя отрядит дрова заготовлять. В лесу память быстро наладится.

Отперли замок, вытащили Любу, а Конрад, как услышал, что ее отыскиали, сам из-за печи вышел. Связали им руки, повели. Когда мимо председателя проходили, набрал Конрад полный рот слюны и всю рожу ему заплевал.

Привезли их на допрос к Куртцу. Конрад сразу рассказал, как дело было, ничего не скрыл.

– Знаешь, что тебе за такой поступок положено? – спросил Куртц.

– Да в чем же провинность наша? – Конрад говорит. – Что любим мы друг друга?

– Не в том, что любите, – отвечает полковник, – а в том, что приказ мой нарушили. Когда дело государственных вопросов касается, тогда частные интересы не важны. Во время войны, в глубоком тылу противника нарушение приказа – самое страшное преступление. И кара за него полагается тоже страшная.

Опустил Конрад голову.

– Казни, – говорит, – твоя власть.

А Люба плачет навзрыд, слова из себя выдавить не может, горло перехватило.

Походил Куртц по комнате, походил и говорит.

– За проступок ваш висеть бы вам обоим на крюке да зверей лесных мясом своих кормить. Но так как ты, Конрад, служил мне верой и правдой, то сделаю я для тебя поблажку. Мост через Пинчин знаешь?

– Знаю, – кивнул Конрад.

Мост через Пинчин был самым охраняемым объектом в ближайших окрестностях зоны. Через него шли эшелоны на фронт, и Куртц около года пытался вывести его из строя. Немало голов партизанских полегли на подступах к этому мосту. Немцы охраняли его люто, и подобраться к нему до сих пор никто не сумел.

– Взорвешь мост, – говорит Куртц, – поведешь Любу в сельсовет, – не взорвешь, в отряд лучше не возвращайся, а о судьбе ее, – он кивнул на плачущую Любу, – я особо позабочусь.

И усмехнулся кривенько. От этой усмешки кровь в жилах у Конрада чуть не застыла.

Да что делать-то, чем сразу на крюк, лучше счастья попытаться! Конрад и согласился на условие полковника. Любу в коровник отправили, за телятами ходить, а Конрада к Болдину свезли.

Прошли две недели. Люба притерпелась, отплакала свое горе и начала потихоньку к жизни возвращаться. Работа у нее оказалась легкая, для деревенской жительницы привычная, она и отходила понемногу в тепле коровника.

Лекарств в отряде не было, и Куртц, в качестве укрепляющей смеси поил партизан отваром какой-то травы. Варили ее на молоке, вкус у нее был отвратительный, но партизаны пили, боясь прогневать полковника. Раздавали пойло два раза в неделю, для этой цели из ближайших деревень пригнали несколько коров. К ним-то и приставили Любу.

Сокрушался я о Конраде и о любви его несчастной, да чем тут делу поможешь? Сведений о нем никаких не поступало, а явно расспрашивать я не решался. Сидел себе в своем закутке, чинил, да налаживал и момента поджидал. Не может быть, думаю, не может быть, чтоб удобного случая не подвернулось. Тут, как в ночной засаде, нужно терпения набраться и лежать, лежать, пока ветка под ногой не хрустнет, пока не выдаст себе противник неосторож-

ным движением или звуком. А там уж не зевай, плыви по моменту, главное – цель известна, значит, только то тебе и остается, что выбрать правильные средства и к цели этой добраться, как можно быстрее.

Так вот, спустя недели две, вдруг открывается дверь в мою комнатку и вваливается Конрад. Похудевший, небритый, рука на перевязи висит, но глаза горят, а лицо сияет – видно, что с победой человек вернулся.

– Рассказывай, – говорю я ему.

– А что там рассказывать, – отвечает, – был мост, и нет моста. Как я это сделал, сам не понимаю, вела меня словно рука незримая, от пуль оберегала, в трудных местах за шиворот вытаскивала. Но не это главное! Главное, был я сейчас у Куртца.

– Ну, как, сменил гнев на милость?

– Сменил, сменил! – Конрад похлопал рукой по нагрудному карману гимнастерки. – Благодарность объявил, и приказ выдал – завтра веду Любу в сельсовет.

– В добрый час!

– За этим-то я и пришел. Тебе одному верю, никому из этой банды счастье свое поручить не могу. Обещаешь, что выполнишь мою просьбу?

– Обещаю, – говорю, а сам опасаясь, как бы не учинил Конрад очередное приключение и меня в него не затащил. Но ситуация так разворачивается, что отказываться никак невозможно, значит надо плыть по ней и ухо остро держать.

– Я сейчас поеду к председателю, – говорит Конрад, – а тебя прошу, завтра возьми сани и привези Любу к двум часам дня в сельсовет. Раньше мне не управиться, свадьбу, какую никакую сыграть надо, закуски, выпивки достать, избу приготовить, в баню сходить. Да и Люба раньше не успеет. Я бы сейчас к ней полетел, но Куртц ночью ехать не велел, подстрелят, говорит, тебя по ошибке, испортишь весь праздник. А если он так говорит, – тут Конрад помрачнел, – очень даже произойти может. По ошибке, или не по ошибке, какая уже мне с того разница будет. Так я в штабе заночую, и с утра к председателю, а ты к Любе моей. Договорились?

Чем я мог ему ответить? Только согласием.

На следующий день Конрад умчался в деревню, а я поехал за Любой. Как услышала она радостную весть, залилась красной краской до самых бровей.

– Ой, – говорит, – как же я все успею, времени то почитай, совсем не осталось.

– Так поторопись, – говорю, – девушка. Время сейчас дорого стоит, как бы полковник не передумал,

– Ничего – отвечает Люба, – я ловкая, я справлюсь.

И действительно за полтора часа обернулась. При встрече вышла ко мне телятница из коровника, а тут в сани уселась невеста разукрашенная. Красивая, духами пахнет! Вот ведь женщина, и где только она их раздобыла среди телух да подойников!

Пока ехали, погода испортилась. Поднялся ветер, закрутилась поземка. Тучи набежали, стало темно, сумрачно. Когда подъехали к сельсовету, началась настоящая метель.

В избе натоплено, председатель уже ждет, книгу записей приготовил, а в соседней комнате стол накрыт, закусками уставленный.

– Не обижайся на меня, – говорит Любе председатель. – Я ж не только за себя, а еще за четыре головенки малые ответчик, да за жену, и мать старую. Куда ж мне с таким грузом против Куртца идти?! Вот колечко твое, часы жениховы, возьми и не поминай зла.

Ничего Люба не сказала, вошла в избу, села на лавку у стены, ждет. А я председателя спрашиваю:

– Сейчас полковника уже не боишься?

– А сейчас чего бояться, – отвечает, и нагрудный карман поглаживает. – У меня его собственной рукой приказ написанный имеется. Провести брачную церемонию согласно уложению и порядку советского законодательства.

Ну, ладно. Сидим, ждем. Полчаса проходит, час, я начинаю волноваться, а Люба так вовсе белая, как снег. Сидит, еле дышит, смотреть на бедняжку жалко. Стемнело, метель разыгралась вовсю, снежная крупа бьет по стеклам, ветер свистит в печную выюшку, воев в трубе. В избе тепло и уютно, но от этого уюта радости никакой. Вдруг дверь распахивается, и весь запорошенный снегом вваливается Конрад.

– Ну, наконец-то! – басит председатель и не давая Конраду раздеться тащит его к столу. Люба тут же оказывается рядом. Брачную церемонию председатель провел лихо, снег на шапке у Конрада даже растаять не успел.

– Именем советской власти объявляю вас мужем и женой, – возвестил председатель, ставя печать в книге записей.

Я, честно говоря, чуть не прослезился. Вот, подумал, война вокруг, смерть, разрушение, а у людей любовь. И, похоже, настоящая.

– Поцелуйтесь, молодые, – возвестил председатель и захлопнул книгу.

Конрад сорвал, наконец, с головы шапку и потянулся губами к лицу Любы. Та, трепеща и краснея, подняла лицо навстречу его губам, глянула на мужа, вскрикнула – это не он! – и упала в обморок.

Все прояснилось в считанные секунды, вместо Конрада посреди сельсовета стоял Бурмила.

– А постель молодым приготовили? – спросил он, глумливо улыбаясь. – Я хочу спать со своей законной женой.

Люба очнулась, ушла в угол, опустила голову на колени и задергалась в безмолвных рыданиях.

– Ты что это такое, подлец, сделал? – пошел на Бурмилу председатель. – У меня приказ полковника поженить Конрада с гражданкой Онисимовой, а не с тобой, горлопаном пьяным. Знаешь, что за нарушение приказа бывает?

– Ты, дядя, не шибко разоряйся, – покачиваясь, отвечал Бурмила. – Приказ был тебе даден, ты и в ответе за его выполнение. А с меня чего спрашивать, нешто я врал? Спросили меня, хочу я взять в жены гражданку Онисимову. Я честно сказал, что хочу. И все дела.

– Ну, ничего, – сказал председатель. – Женили мы ее с Конрадом, он и есть ей законный муж. А ты просто недоразумение, несчастный случай. Убирайся отсюда, подобру-поздорову.

– Ну, и хрен с вами, – согласился Бурмила, нахлобучил шапку и вышел из комнаты. Похоже, он был изрядно навеселе. Впрочем, он всегда был навеселе, так что это обстоятельство не вызвало у меня никаких подозрений. Тревожило другое – куда подевался Конрад.

– Он у Каменских остановился, – сказал председатель. – Я схожу, выясню, в чем дело. Может, его метель с толку сбила, да заплутал по дороге, хоть и негде тут плутать, а может, другое чего произошло.

– Нет уж, – сказал я. – Ты с невестой посиди, а до Каменских я сам наведу. Где они живут?

Объяснил мне председатель, я и пошел. А деревню занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землей, словом воцарилась настоящая пушкинская метель. С трудом отыскав нужную избу, я постучал в оконце. Дверь отворил хозяин, невысокого роста зверообразный мужичок.

– Где жених? – спросил я, не желая тратить время на объяснения. Но Каменский понял меня с полуслова.

– Дак, в горнице у себя был. Мы ему чистую половину отвели, постелю застлали, как молодым положено, да и оставили. Тихо там, мы думали, он давно ушел.

– Пойдем, посмотрим.

Дверь в горницу не поддавалась, верхний край отходил под нажимом, а нижний держался, словно приклеенный. Наконец, после нескольких энергичных усилий, она распахнулась, и перед нашими глазами предстало ужасное зрелище.

Конрад лежал на спине, широко раскинув руки. Голова откинута вбок, точно вывернута, а горло перерезано чуть не до шейных позвонков. Пол кровью залит, даже под дверь подтекло, она примерзла, кровь-то, оттого и открыть сразу не получилось.

Как прошла эта ночь, лучше не рассказывать. Люба, когда узнала о случившемся, точно окаменела. Опустилась на свое место и замерла. Возвратиться в штаб мы не могли из-за вьюги, председатель пригласил заночевать у него, но Люба промолчала, будто не слышала его слов. Я остался с ней, прилег на другую лавку, да так и скоротал ночь. Просыпаясь, я бросал взгляд на Любу. Она сидела в той же самой позе, беспомощно, словно затравленное животное, глядя перед собой.

Утром метель утихла, послали гонца к полковнику. Он приехал сам, окруженный десятком опричников. Осмотрел тело, велел обыскать хорошенько горницу, посадил Любу в свои сани и уехал. Мы двинулись вслед за ним.

Похороны назначили на следующий день. Бурмилу с двумя опричниками послали рыть могилу в лесу, отогревать кострами землю и долбить ее ломами. Я вернулся в свою комнату и принялся за привычную работу. Вскоре ко мне зашел Куртц.

– Расскажите, как дело было, – то ли попросил, то ли приказал он.

Я рассказал все без утайки. Он слушал, барабанил пальцами по столу.

– Несчастная девушка, – произнес Куртц, когда я закончил свой рассказ. – Несчастная девушка. А убийцу мы накажем. Так накажем, чтоб другим неповадно было.

Он вытащил из ящика стола нож и потянул мне.

– Узнаете, Макс Моисеевич?

Два свинцовых в кольца в рукоятке! Да ведь это...

– Не надо, – остановил меня Куртц. – Я уже все знаю. Убийца или спешил, или был сильно пьян, но главную улику он потерял в снях и не позаботился отыскать.

– Зачем он это сделал? – спросил я.

– А зачем это вообще делают, – усмехнулся Куртц. – Зачем люди так последовательно и безнадежно убивают друг друга? Об этом вы не думали?

Он встал, походил по комнате.

– Мне донесли, что он давно глаз на Любу положил, а как стало известно про свадьбу, напился и повторял без умолку: – опять жидам русское мясо!

– Но ведь Конрад поляк!

– Он такой же поляк, как вы Быков, дорогой Макс Моисеевич. Трудно вашей нации жить на свете. И нам с вами трудно.

Он еще походил, а потом спросил меня:

– Аскольдова вам читать не доводилось?

– Нет, – сказал я.

– Понятно. Впрочем, откуда у вас Аскольдов, – хмыкнул Куртц.

Он вытащил папиросу из пачки, закурил, потом уселся на лавку перед окном и долго смотрел в черное стекло.

– Есть такой русский философ, глубокий, искренний человек.

Синий дымок папиросы уходил под низкий потолок. Потрескивали дрова в печурке. Было тихо, как бывает только зимой.

– Душа любого человека трехсоставна, – загасив папиросу, произнес Куртц. – Святое, человеческое и звериное, вот и все компоненты. В русском человеке, как типе, наиболее сильны звериное и святое начала. Гуманизм, то, чем человек отличается от зверя, выражен

весьма бледно. Русские никогда в нем не преуспевали, и были гуманистически отсталыми на всех ступенях развития. И не потому, что мы запоздали в культуре. Скажем обратное: культуры в России не было и нет от слабости гуманистического начала. У нас рождаются или святые, или звери. А святые сейчас не в моде.

Он поднялся, и, не прощаясь, вышел из комнаты.

Похороны были торжественными, всех опричников выстроили буквой «П» вокруг могилы, командиры отрядов принесли на плечах свежевystруганный гроб с телом Конрада и осторожно опустили в яму. Куртц произнес короткую речь.

– Мы хороним героя, – сказал он. – Больше года немецким фашистам удавалось удерживать в своих руках стратегический объект – мост через реку Пинчин. Не один и не два раза пытались мы взорвать этот мост, но тщетно. Пока не пришел Конрад и сам, в одиночку сделал то, чего не могли добиться десятки бойцов. Вечная слава павшему герою!

Под гром ружейного салюта яму забросали мерзлой землей. Ее комья гулко стучали по крышке гроба. Люба, стоявшая возле Куртца, плакала навзрыд.

Когда в холмик воткнули колышек с красной звездой, Куртц поднял руку.

– Подлый убийца героя находится среди нас, – сказал он. – И сейчас мы попросим вдову Конрада выбрать ему наказание.

Он подхватил Любу под руку и медленно пошел вдоль замерших опричников, вглядываясь в лицо каждого.

Наступила мертвая тишина, опричники боялись пошевелиться, ведь в качестве жертвы Куртц мог выбрать любого из них. Пройдя почти весь строй, он остановился напротив Бурмилы.

– Узнаешь? – спросил он, вытаскивая из кармана нож.

Широко раскрытые глаза Любы сузились, превратившись в две щелки. Бурмила побледнел... и бросился к ее ногам...

– Пассажирский поезд восемьдесят шесть Новосибирск Москва прибывает на третий путь ко второй платформе. Повторяю, пассажирский поезд...

– Пошли, – Макс Михайлович поднялся со скамейки. – Если опоздаем, придется идти через мост.

Миша поднялся следом.

– Папа, а чем этот эпизод закончился?

– Как и все на войне, одни умерли, другие дальше жить стали.

– А все-таки?

– Бурмила страшную смерть принял, Любу вернули в штаб, я возвратился в свою комнату. Куртц начал бриться самостоятельно, и кожа его быстро утратила былой блеск и упругость.

Спустя две недели Любу отвели в баню к полковнику, и после этого она согласилась передать в эфир несколько десятков цифр. Когда через три месяца Красная Армия освободила Любанские леса, за Куртцем приехал грузовик из СМЕРШа. Впрочем, арестованным он себя не чувствовал, со всеми попрощался, был как всегда ровен и холоден. По настоящему арестовали Болдина, разоружили, скрутили руки за спиной. Мне за этот рейд дали капитана и медаль «За отвагу». Давай быстрее, поезд уже на подходе.

Письмо пятое

Дорогие мои!

На сей раз я долго не мог придти в себя, понять, где нахожусь. Ощупывал стол, бездумно смотрел на рисунок головы дракона, узкую щель под ним, прижимался спиной к теплой стене, ерзал на стуле. Но сознание не возвращалось, я одновременно находился в двух

мирах: зыбкой реальности своей комнатки и ярком пространстве сна. Лишь спустя час раздвоение ушло, сон оплыл, растворился, только перед моими глазами безостановочно плывет текст, словно замкнутый ролик кинокартины. Я просмотрел его уже пять или шесть раз, почти выучил наизусть. Наверное, единственный способ остановить картину – перенести значки на бумагу. Иначе, зачем он не отпускает меня? Я сделаю это, превращу его в письмо и отправлю вам.

«Досточтимой Патронии, славной патрицианке и несравненной властительнице дум от всадника Децима Симмаха.

Ты помнишь, как мы с тобой повздорили из-за Исая, юного палестинского раба? Хозяин, чем-то рассерженный, просил за мальчишку цену хорошего мула. Но кто думал о деньгах, я хотел Исая для своих утех, а ты – для своих. Мы поспорили, ты слегка возвысила голос, и твоя верхняя губка искривилась, обнажив полоску блестящих зубов.

Когда я объяснил, что раб слишком юн, и тебе придется кормить его несколько зим, прежде чем он станет готов к услаждению женицин, мне же он подходит немедленно, ты успокоилась и уступила. Исая подвели к нам, ты провела ладонью по нежному бархату его щек и, тяжело вздохнув, взяла с меня обещание писать о его судьбе. Вот, я пишу.

Для начала я определил мальчишку на кухню, приказав управляющему поручить ему самую грязную работу, и кормить впроголодь. Прежде, чем попасть в мои покои, Исай должен был познать, насколько тяжел труд и утомителен быт простого раба.

Спустя неделю я, как бы случайно, проходил через хозяйственный двор моей усадьбы на Яникульском холме. Исай в одной набедренной повязке, весь перепачканный золой, чистил огромный бронзовый котел. Сам он был немногим больше этого котла и его тонкие пальчики покрывал толстый слой сажки. Сердце мое сжалось, но я не подал виду и остановился, словно задумавшись о каком-то деле. Рассеянно взглянув на Исая, я подозвал его, и начал расспрашивать нравится ли ему жизнь на новом месте.

Он молчал, глядя исподлобья, точно, загнанный собаками молодой бельчонок. Тогда я спросил, хорошо ли его кормят. Он отрицательно покачал головой.

– Пойдем, – сказал я, и, взяв его за перепачканные пальчики, повел в термы.

Раздеться при мне Исай отказался наотрез. Я не стал настаивать, передал его рабам, велел отмыть хорошенько, умастить маслом, переодеть в чистую тунику и привести в дом.

Ты бы видела, как он набросился на еду! Я решил приучить его к себе, к виду моего тела, исподволь, не принуждая. Нет ничего слаще преодоленного сопротивления.

Несколько недель Исай, вместе с другими мальчиками прислуживал в опочивальне. Я поручал ему самые деликатные работы: выщипывать волосы на моих ногах, лобке и ягодицах, натирать маслом члены, массировать спину. Мне нравился его испуг, когда он прикасался своей ручонкой, густо облитой благовонным маслом к моему детородному органу. Но я не торопил событий, отвлекая его в этот момент расспросами о семье и городе, в котором он вырос. Все должно было выглядеть самым естественным образом, привыкание происходило медленно, но верно. Спустя месяц он уже спокойно массировал мою мошонку, ведь я не давал ему повода для страха, и процедуры носили чисто лечебный, профилактический характер.

Мы стали друзьями, и в один из вечеров, он рассказал мне свою историю. Хозяин, тот самый, что сердился по непонятной причине, купил его в Яффо. Он собрал полный корабль юных рабов обоего пола и отправился к берегам Италии, рассчитывая выгодно продать товар владельцам публичных домов. Намерений своих он не скрывал, и по грубости просто-народя, во время плавания пользовался товаром сам. Девчонки-рабы сговорились между

собой и решили во время ежедневной прогулки по палубе броситься в море. Узнав об их намерении, мальчишки решили сделать то же самое.

– Если даже девочки, – сказал Исай, – решили, что лучше умереть, то тем более мы, мальчишки.

На мои расспросы, он объяснил, что их Бог запрещает мужчине ложиться с женщиной, и за это преступление виновный лишается доли в будущем мире. Я долго смеялся и пробовал его переубедить, говоря, что сейчас он в Риме, а боги Италии, в отличие от его жестокого и сумрачного Вседержителя, любят человека и радуются вместе с ним, когда он получает удовольствие. Есть души, предназначенные для высокой цели, им дано многое и спрос с них особый. А есть сор, грязь под ногами. Я предложил ему присоединиться к избранным, стать их частью. Но этот маленький фанатик не согласился. Испорченное в детстве плохо поддается исправлению.

Когда в полдень раззява хозяин вывел рабов на палубу и, прохаживаясь между ними, выбирал себе очередную игрушку, эти дикари по условленному сигналу оттолкнули в сторону стражников и бросились в море. Все до одного. Плавать они не умели, да и не хотели спасаться, поэтому пошли ко дну, словно булыжники римских мостовых. Я так и вижу черные, коричневые, каштановые головки в лазурной воде, пробитой столбиками солнечных лучей.

Матросы прыгнули вслед, принялись нырять, хватая за волосы тех, кто еще не успел погрузиться достаточно глубоко. Спустили лодку, затолкали в нее блующих утопленников. Немногих, совсем немногих и среди них – моего Исаю.

Его рассказ подвигнул меня на размышление о сути божественного. Я приказал вынести на балкон ванну, наполнить ее горячей водой, и, разглядывая величественный вид на город, раскрывающийся с Яникульского холма, провел в ней несколько счастливых часов. Рабы постоянно меняли воду, поддерживая ее в состоянии приятном для тела, а Исай подносил кубок со старым фалернским вином, разбавляя его двумя ложками снега. Клянусь всеми святынями Рима, это были не самые плохие часы в моей жизни!

Тяга к божественному есть часть человеческого характера. Так уж мы устроены, от простого крестьянина до императора. Каждый хочет верить, что не все зависит только от людских желаний, что в сумятице жизни существуют некие законы, высшие правила. Разница между дикарями и цивилизованными странами состоит в том, как перевести это тягу к божественному на язык культуры. Примитивные народы придумывают себе жестокое, беспощадное божество, превращающее людей в рабов. Наши, римские боги, больше похожи на друзей, продолжение человека. Как и мы, они гневаются, любят, ссорятся, пьют вино. Они понятны нам, подобно тому, как мы понятны им. С такими богами легко жить: они радуются нашим радостям и помогают в минуты печали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.